

ПУТОРАНА

Книга первая

АШКА



МИР В КНИГЕ

ПУТОРАНА

Книга первая

АШКА

МИРЪКНИГЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Шов
Глава 1. Ашка
Глава 2. Потери
Глава 3. Дао
Глава 4. Считать и прятать
Глава 5. Серый рынок
Глава 6. Разлом-14
Глава 7. Отметка
Глава 8. Полигон
Глава 9. Сезон
Глава 10. Третий
Глава 11. Ярцев
Глава 12. Рейд
Глава 13. Свои
Глава 14. Пестун
Глава 15. Серёжа
Глава 16. Белый лес
Глава 17. Носитель
Глава 18. Приказ
Глава 19. Назарово
Глава 20. Мирон
Глава 21. Плато
Глава 22. Сделка
Глава 23. Цена
Глава 24. Что осталось
Интерлюдия. Дмитровское

Пролог. Шов

1

Бурили на глубине девятьсот, и всё шло по плану, пока не пошло не по плану.

Илья Громов стоял у лебёдки, держал трос и считал: двадцать два метра до забоя, ещё двадцать два обратно. Он всегда так делал — считал вслух, потому что в шахте тишина врёт, а счёт не врёт.

— Илья, — сказал в наушник Кривцов. — Тут порода поменялась.

— В смысле поменялась?

— В смысле тёплая. Тёплая и белая.

— Илья, стой, — сказал в наушник Новиков. — Не лезь.

— Чего там?

— Тепло. — В наушнике зашуршало: Новиков дышал тяжело, как дышат в респираторе. — Плюс двадцать восемь. На девятистах.

— Прибор врёт.

— Прибор новый, — сказал Новиков. — Илья, я тридцать лет бурил. Такую тёплую породу здесь не встречал. Тут либо труба какая-то, либо...

— Либо что?

— Либо мы куда-то попали, — сказал Новиков.

— Мы не могли попасть, — сказал Илья. — Мы бурили по карте.

— Вот я и говорю: либо труба, либо карта.

В наушнике засмеялся Бекетов — коротко, без веселья.

— Мужики, — сказал он. — У меня дочь. Если что, вы ей скажите, что я не мучился.

— Дурак, — сказал Кожин. — Ты на смене, а не на фронте.

— Я и говорю как на смене, — сказал Бекетов.

— Там вода? — спросил Илья.

— Там не вода.

Он всё равно полез. Так устроены люди, которые привыкли считать породу: если внизу что-то есть, они хотят посмотреть, что именно.

Он спустился.

Колодец был не шахтой, а дырой: ровной, как стакан, и на дне её лежал камень, которого не должно быть на девятистах метрах, — белый, тёплый, с восемью чёрточками по краю.

Восемь. Он их посчитал сразу, даже не подумав.

— Что это? — сказал в наушник кто-то.

— Не трогай, — сказал Кривцов.

Илья протянул руку и потрогал.

Сначала не было ничего: тепло, гладко, как нагретая печь. Потом он услышал.

Он не услышал слов — он услышал счёт. Он шёл отовсюду: от стены, от троса, от людей, от него самого, — ровный, спокойный, без злобы. И в этом счёте было место

для всего: для камня, для воды, для него, для каждого из одиннадцати, кто стоял внизу.

А потом в счёте открылась дыра.

Он не знал, как это описать. Он потом долгие годы не мог этого объяснить и не пытался: в тот момент он просто понял, что рядом с ним, вплотную, стоит кто-то очень большой. Не злой. Не добрый. Считающий.

— Ты чего? — спросил Кривцов.

— Оно считает, — сказал Илья.

— Кто?

И тогда стена пошла.

Не обвалилась — пошла, как идёт вода на человека: медленно, без шума. Она не хотела их убивать: она просто занимала место. И места хватило не всем.

Бекетов отдал ему верёвку — сунул в руки и махнул, чтобы лез. Черных и Юрченко ушли вниз за Дороховым, который бросил камеру. Асланов держал связь до последнего, и в наушниках у него до конца были слышны позывные. Кожин держал трос, помогая людям подниматься по одному, и держал до конца. Хабарова вытащила Кожина на две ступени выше, и они остались вдвоём.

Потом он хоронил их — не телами, тела остались внизу: он хоронил по памяти, пока поднимался. Бекетов, который отдал ему верёвку, потому что у Бекетова была дочь и он всё равно не успевал. Кожин, который держал трос до конца, а Кожин был здоровый, как трактор, и умер, почувствовав себя сильнее всех. Дорохов, который бросил камеру, — и камера его не спасла. Асланов, у которого в наушниках до последней секунды шли позывные.

Хабарова. Черных. Юрченко.

Кривцов дошёл до выхода и не вышел: его вытащили уже без сознания, и он прожил ещё полтора года, и всё это время считал — вслух, ровно, ни на минуту не сбиваясь, и умер, не досчитав до конца одну ночь.

Из одиннадцати трое вернулись своими ногами: Илья, старший группы Новиков и геолог Соловьёва. Кривцова вынесли без сознания.

Илья вышел последним. Он поднялся, сел на снег и посмотрел на свои руки.

Руки были тёплые. Не от мороза — оттуда.

— Илья, — сказала Соловьёва. — Ты как?

— Я слышу, — сказал он. — Я всё слышу. Сколько в тебе, сколько в нём, сколько в камне.

Она посмотрела на него и записала — она была геологом и верила только в то, что записано.

— Запиши и это, — сказал Илья. — Оно сказала: придёт от тебя.

— Кто сказал?

— Не знаю, — сказал он. — Оно не говорит. Оно считает.

Больше он об этом не сказал никому. Через год он уволился, через два переехал в посёлок, где не было ни очагов, ни охотников, и жил тихо: работал, ходил за водой, вечерами читал сыну книжки — сын родился через шестнадцать лет, и голос у него был как у матери, громкий.

А в мире тем временем началось.

2

Первым не поверил никто.

На базе у них отобрали одежду, вещи и записи, а самих развели по комнатам, и с ними разговаривали по очереди — вежливо, без злобы, по двенадцать часов подряд.

— Что вы видели?

— Камень.

— Что вы слышали?

— Счёт.

— Кто считал?

— Не знаю.

— Кто считал? — спросил человек в третий раз.

— Не знаю.

— Вы сказали: «оно считает».

— Я сказал.

— Так кто?

— Я не знаю, как это сказать, — сказал Илья. — Это как когда рядом стоит кто-то большой. Ты его не видишь. Но ты знаешь, что он стоит.

— Это бред, — сказал человек.

— Это бред, — согласился Илья. — Запишите.

Человек посмотрел на него и записал.

Разговор повторялся восемь раз, и на восьмой раз Илья понял, что от него хотят слова, а слова нет. Он вышел из кабинета, дошёл до казармы, лёг и проспал четырнадцать часов. А утром ему сказали, что Новиков написал рапорт и уволился по собственному желанию, и что в марте следующего года будет вторая группа, потому что «породу надо отобрать».

Возвращаться он не собирался.

Он поехал на второй спуск в следующем году — не потому, что хотел, а потому, что позвали: Новиков пропал, и его надо было искать. Он спустился во второй раз, вошёл в тот же белый камень и услышал то же самое, и на этот раз с ним было пятеро детей, которых взяли «помогать», и одному из них было семнадцать.

Второй спуск они закрыли. Новиков остался внизу. Того семнадцатилетнего звали Игнат Прохоров, и он вышел последним, и через год у него была левая рука из серой вязи, а через двадцать — тринадцатый сводный отряд и тридцать пацанов, которых он называл «расход».

А в мире тем временем началось.

Первые были дети.

В Норильске, через семь месяцев после Колодца, третьеклассник на уроке сказал, что у учительницы «свет идёт неправильно»: у неё, мол, в груди серая полоса, и она скоро заболеет. Через месяц учительница умерла. Мальчика забрали в институт, и там он прожил девять лет, и всё это время его учили считать.

В Красноярске первая дыра открылась в подвале жилого дома на Мира: она была тёплая, и из неё шёл пар, и через неё в дом вошло то, что потом называли навьями. Погибло четырнадцать человек — вся семья и соседи, которые пришли

помочь. Город узнал об этом через два дня; ещё через день в подъезде поставили манжеты, а на двери написали: «ОЧАГ. НЕ ВХОДИТЬ».

Люди не поверили. Люди вообще не верят в то, что видно: пар, тёплый в феврале, объясняли трубами, смерть — газом. Поверили, когда дыры начали открываться по всей стране, а из них пошли твари, и когда выяснилось, что есть люди, которые этих тварей могут бить.

Таких людей называли пробуждёнными.

Сначала их боялись. Их выводили из школ, потому что обычные дети дрались с ними и всегда проигрывали; их выгоняли с работ, потому что рядом с ними ломалась техника; их матери прятали их по деревням, потому что за пробуждённого ребёнка приходили люди в серых куртках и говорили: «Он нужен стране».

Потом появились деньги.

Первый очаг закрыли в шестьдесят первом за девяносто тысяч.

Вербовали тогда просто: бригадир выходил на площадь с пачкой денег и говорил с борта машины.

— Мужики! — кричал он. — Кто умеет не бояться — три тысячи в месяц! Работа в подвале, дыра тёплая, выход один!

— А если не выйду? — спрашивали из толпы.

— Тогда семье пятьдесят, — говорил бригадир. — И похороны за счёт конторы.

— А почему за контору умирать?

— Потому что, — говорил бригадир, — кому-то же надо. Или ты, или город. Ты город?

Толпа молчала, а потом из неё выходили двое-трое, и бригадир записывал их фамилии в тетрадь, и это была первая тетрадь учёта в этой стране. Платили наличными, платили сразу, и уже через год в стране было триста охотничьих бригад, а через два — Лига: большая контора с окнами на площадь, со столовой, с больницей и со школой, где учили детей в куртках с буквами.

Буквы придумали тоже охотники, и придумали просто: чтобы не гордиться. А — тот, кого пускают в подвал; Б — тот, кто держит; В — тот, кто ходит в прорехи; дальше — те, кого мало. Никаких имён у букв не было: имён хватало в некрологах.

К семидесятым всё стало как сейчас.

В Томске, в семьдесят пятом, мать прятала сына три месяца.

Мальчику было столько же, сколько потом Арсению: четырнадцать. Он проснулся ночью и сказал, что видит в стене пожар — не дым, а тот самый свет, который идёт перед огнём. Через три недели дом сгорел. Не от него: старая проводка. Но в доме после пожара сказали: «Это мальчик».

Мать увезла его в деревню, к сестре, и там он жил под чужим именем, и там её нашёл человек в серой куртке.

Он пришёл в сентябре, вечером, когда стемнело, и сел на крыльцо, и не стал ни угрожать, ни пугать: он положил на ступеньку лист.

— Он нужен стране, — сказал человек.

— Он ребёнок, — сказала мать.

— Все они дети. — Человек посмотрел на неё без злобы. — Понимаете, в чём дело. Через десять лет дыр будет в два раза больше, а пробуждённых — в два раза меньше: они гибнут. Мы не отнимаем вашего сына, мы предлагаем ему работу, за

которую платят. Двенадцать тысяч вперёд. Ему — школа, врачи, довольствие. Вам — пенсия по потере кормильца, если что.

— Если что?

— Если что, — сказал человек. — Женщина, вы живёте в стране, где в каждом втором подвале дыра. Я вам не враг. Я вам говорю, как есть.

Она подписала.

Через шесть лет, в восемьдесят первом, ту же бумагу и те же слова услышит другая женщина — в Красноярске, в школе номер шестьдесят, — и подпишет так же, потому что слова не меняются, а голод не отменяется.

Охотников показывали по телевизору, как раньше — футболистов: рейтинг «Столб», стримы зачисток, дорогие куртки, девушки у выхода. Их любили. Их боялись. Их дети носили нашивки и мечтали попасть в девятый отряд, где командиром был Ярцев — двадцать два года, буква Г, лицо канала.

Родители возили своих детей на калибр, как раньше возили на экзамены, и стояли в коридорах с банками варенья, чтобы ребёнка «хорошо посмотрели». В коридоре Лиги стояли родители, и между ними шёл один и тот же разговор.

— Вы куда?

— На калибр. У нас мальчик, ему тринадцать, у него ночью руки светятся.

— А мы в «Индекс».

— В Лигу лучше: Лига — это армия, там форма, довольствие, пенсия. В «Индексе» — комната и врач, но там бумага длинная.

— Длинная?

— Длинная, — сказал отец, стоявший впереди. — Я читал до половины. Там написано: «носитель». Я спросил: что это? Мне сказали: это квалификация.

— А мальчику сколько?

— Четырнадцать. Подписываем в понедельник.

Женщина постояла и сказала:

— У меня девочка. Ей девять. Я, может, и подождала бы, да за очаг в Норильске платят вперёд, а у меня муж без работы. Я дочку люблю. Вы не думайте.

— Мы не думаем, — сказал отец. — Мы все дочек и сыновей любим.

Он сказал это и пошёл вперёд — потому что открылась дверь.

За пробуждённого платили: Лига — двенадцать тысяч вперёд, консорциум «Индекс» — сорок. У «Индекса» была отдельная палата, отдельный врач, отдельный договор, и в этом договоре было слово «носитель», которое никто не понимал.

В семьдесят девятом хоронили отряд.

Их было шесть, и все шестеро остались в прорехе под Норильском, и в сводке через неделю написали: «потери понесены, шесть, объект закрыт». Слова «погибли» не написали, потому что в Лиге был устав, а в уставе — строка: погибший — тот, чья смерть установлена; потеря — тот, кто не вернулся.

Мать одного из них пришла в управление и стояла у окна выдачи три часа.

— Мне сказали «потеря», — говорила она. — Потерять можно ключи. Потерять можно деньги. Сына не теряют, сына хоронят.

В окне выдачи сидела женщина и повторяла одно и то же — восьмой раз за день.

— Формулировка — «потеря».

— Я не про формулировку, — сказала мать. — Я про то, что мне домой идти.

— Я понимаю, — сказала женщина. — Но если я напишу «погиб», приедет проверка, и тогда выплату задержат на три месяца. Вам это надо?

— Не надо.

— Тогда «потеря». Распишитесь здесь и здесь.

Мать расписалась и вышла, и в коридоре села на скамейку, и просидела до вечера — не потому, что ждала, а потому, что дома её ждала пустая комната.

Женщина из окна вышла в конце дня, увидела её и сказала:

— Идите домой. Пожалуйста.

— Я пойду, — сказала мать. — Только скажите: у вас дети есть?

— Есть.

— Тогда вы меня поймёте через двадцать лет.

С тех пор в стране говорили «потери», и никто уже не помнил, что это неправильное слово.

К семидесятым люди привыкли.

Они привыкли к тому, что в подвалах живёт смерть, а на первом этаже — мана; что у соседа сын вернулся из прорехи без руки и с деньгами; что каждую зиму в городе ставят новые манжеты; что в сводках пишут «потери» вместо «погибли», потому что «погибли» — это про людей, а «потери» — это про работу.

Они привыкли считать: сколько стоит выход, сколько стоит кисть, сколько стоит закрыть очаг вместе с теми, кто в нём остался.

Привыкли — и перестали замечать.

А потом, в восемьдесят первом, мальчик из Красноярска, у которого в четырнадцать лет в графе «класс» стоял прочерк, а в графе «аура» — пустота, получил в подвале удар камнем по спине и не умер.

Он и есть наша история.

Но началась она раньше — в тот день, когда на девятистах метрах тёплый белый камень сказал геофизику Илье Громову: «Придёт от тебя».

Глава 1. Ашка

В управлении Лиги пахло хлоркой и мокрой шерстью.

Арсения вызвали третьим. За столом сидели двое: женщина в сером, с планшетом, и мужчина, который не смотрел на вошедших — он смотрел на экран прибора.

— Громов Арсений Ильич, — сказала женщина. — Четырнадцать лет. Калибр в январе. Садись.

Он сел.

Прибор щёлкнул. Мужчина посмотрел на цифру, потом на него, потом опять на цифру, и лицо у него сделалось такое, как у человека, которому показали пустой ящик вместо товара.

— Не читается, — сказал он.

— Что не читается? — спросил Арсений.

— Всё.

Женщина в сером записала. Арсений видел её экран сбоку, в отражении стола: две графы. В первой стоял прочерк. Во второй — буква А.

Он знал, что это значит. На прошлой неделе, в школьном коридоре, Тимур объяснил ему, что буквы придумали не для красоты: А — расходник, Б — рабочая сила, В — тот, кого пускают в настоящую дыру. Дальше Тимур не знал, потому что дальше в их школе никто не знал.

— Класс не определён, — сказала женщина, не глядя на него. — Так бывает. У ашек часто. Пойдёшь в сводный.

Она наконец подняла глаза — и сказала это ровно, как читают инструкцию, в которой всё написано в пользу читающего:

— И вот что, Громов. Буква — это не оценка. Буква — это режим. У А нагрузка меньше, кормление чаще, страховка выше, выходов в год два, а не шесть. Ашек берегут: они — наше будущее, и мы это будущее не расходует. Поэтому не обижайся, когда услышишь в казарме «ашка». Обижаются те, кому нечего предложить.

Она положила перед ним лист.

— Досрочное служебное соглашение, — сказала она. — Двенадцать тысяч вперёд, довольствие, форма, четыре года. Дальше — по результату. Читать не обязательно: там всё как везде.

Он прочитал.

Читал он медленно, водя пальцем, потому что буквы в бумагах были мелкие, а внизу, в четвёртом разделе, стояло то самое, из-за чего он и пришёл: «при утрате трудоспособности выплата производится семье».

У него была семья: брат, шесть лет, и тётя Полина, которая держала его за руку, когда он был маленький, а теперь держала брата.

Он поставил подпись.

— Следующий, — сказала женщина.

* * *

Родители погибли, когда ему было десять, а Мирону — два.

Это случилось в посёлке, в октябре семьдесят шестого: очаг открылся в подвале школы, где шли занятия, и к утру в дыму и тепле осталось сорок человек — дети, учительница и две женщины из столовой.

Отец, Илья Громов, был геофизиком и охотником в отставке; он держал дверь, пока выносили детей, — просто держал: у него не было ни класса, ни маны, он врос в косяк и стоял, и через него перетаскивали ребят. Двадцать восемь он вынес сам. Мать, Анна Петровна, была рядом и носила их по двое.

Когда вынесли всех, кроме двух — двух мальчиков с третьего этажа, — отец сказал, что идёт за ними.

Мать пошла с ним.

Они не вышли: к тому времени очаг уже сложился, и в подвал не было хода. Через два дня в сводке написали: «потери — двое, объект закрыт». В бумаге не было ни слова о том, что они вынесли двадцать восемь.

Арсения и Мирона взяла тётя Полина, сестра матери, и вырастила их в том же посёлке, в доме на Заводской, и всю жизнь говорила про мать одно и то же: «Она была громкая. Как ты».

Все эти годы Арсений помнил её голос — высокий, громкий, которым она звала его со двора, — и запах кухни: суп, лук, чугунная сковорода.

* * *

Три недели до этого его выгнали из школы на пять дней.

Всё было просто, как бывает просто в четырнадцать лет.

В шестом классе учился мальчик по фамилии Пеструхин: тихий, в очках, сын дворника. У него аура не читалась — как у Арсения, — и класс на переменах проверял его на прочность: толкали в спину, отбирали сменку, говорили «дворниково отродье».

В тот день его взял Глеб Сотников.

Сотникову было пятнадцать, он был на голову выше всех, и в январе у него открылось: аура у него была плотная, ровная, и калибр показал класс Маг. Его отец служил в Лиге, и об этом знала вся школа: у Сотникова были кроссовки за девять тысяч, а на перемене вокруг него стояли трое.

Он взял Пеструхина за шиворот и поднял — легко, одной рукой, как поднимают кошку, — и сказал:

— Смотрите: у него нет ауры. Он даже не ашка. Он никто.

Трое засмеялись.

Арсений стоял в четырёх шагах.

Он потом много раз вспоминал эту минуту. Он мог отойти: тогда бы никто не увидел, и всё обошлось бы. Он не был сильным: у него самого была «А», и драться он не умел. Он знал, что будет больно.

Он сказал:

— Поставь его.

Сотников обернулся.

— Что?

— Поставь его, — сказал Арсений. — Ты его поднял, потому что он слабее. Это не сила, это гадость.

Сотников поставил Пеструхина.

А потом ударил Арсения — в лицо, коротко, как бьют те, кто умеет. Арсений упал. Он встал, и его ударили ещё раз. Он встал опять, и тогда Сотников сказал своим:

— Держите.

Его держали, и он получил четыре раза, и на пятом перестал считать. Он не заплакал: он лежал на полу и смотрел в потолок, и в ушах шумело, и он думал о том, что Пеструхин стоит у стены и не ушёл.

Кто-то из учителей разнял их; Сотникова не тронули — у него был отец в Лиге; Арсению дали пять дней и сказали: «Сам виноват».

Дома тётя Полина мазала ему скулу и говорила:

— Ну зачем ты полез? Тебе что, больше всех надо?

— Надо, — сказал Арсений.

— У тебя брат маленький. Тебя убьют когда-нибудь, и что я скажу Миرونу?

— Скажи, что я не молчал.

Он не умел это объяснить. В доме тёти Полины не было книг, и слов «честь» и «правда» вслух не говорили. Но он знал это точно, как знают, что лёд холодный: если сильный бьёт слабого, а ты стоишь и смотришь — то ты уже не человек, а тряпка. Это было в нём неправильно, не по возрасту, и это было главное, что в нём было.

Через две недели Пеструхин принёс ему в подъезд банку варенья и молча поставил на ступеньку.

Через три недели Арсений подписал контракт.

А через два с небольшим месяца, в подвале, в чёрном месте, где стояло семь стволов, надпись назвала ему причину.

Он тогда не поверил. Потом поверил.

* * *

Лагерь «Сосновый» стоял в сорока километрах от города, на месте бывшего пионерлагеря: корпуса, столовая, спортплощадка с заросшими турниками, и забор, за которым начинался лес.

В первый же вечер Арсения поставили в строй.

Их было тридцать — все четырнадцати и пятнадцати лет, все в одинаковых куртках, все с буквой А на нашивке. Перед строем ходил немолодой мужчина с планшетом и протезом вместо левой руки. Протез был из серой вязи, гибкий, и он им почти не пользовался: планшет держал правой.

— Прохоров, — сказал он. — Командир тринадцатого сводного. Смотреть на меня, слушать меня, вопросов не задавать. Начнём с главного.

Из строя спросили — тихо, из середины:

— А почему у ашек пусто?

Прохоров остановился.

— Потому что вы ещё не начали, — сказал он. — Пусто — это не «слабо». Это «не проявилось». У кого-то проявляется через месяц, у кого-то через год, а у кого-то — никогда.

— А если никогда?

— Тогда ты будешь работать руками, — сказал Прохоров. — И это, между нами, самая надёжная работа в Лиге: руки живут дольше, чем аура.

Строй засмеялся — коротко, недружно, как смеются, когда страшно.

Он пошёл вдоль строя.

— Аура — это не свечение, — сказал он. — Забудьте, что вам показывали в роликах. Аура — это как человек давит на воздух. Она есть у каждого пробуждённого, и она не врёт. Никогда. Если вы умеете читать — вы видите человека до того, как он открыл рот.

Он остановился у первого.

— Первый. Стоит, как печка: плотный, ровный, снизу вверх. Держит. Хороший танк выйдет, если доживёт.

Он шагнул дальше.

— Второй. Гуляет. Разреженный, как тень на воде. Убийца или стрелок.

Дальше.

— Третий. Гудит. Зубами слышно, если рядом стоять. Это чутьё: такой очаг за километр чувствует.

Дальше. Дальше. Дальше — и на Арсении он остановился.

Он смотрел на него дольше, чем на остальных: секунды две, не больше. И сказал то же, что говорили все:

— Не читается. Пока пусто.

Он пошёл дальше, и Арсений выдохнул.

Потом он понял, отчего выдохнул: в его груди, ровно под грудиной, что-то было. Не мысль. Не страх. Как будто там поставили точку и теперь считали до неё.

— Четвёртый, — сказал Прохоров, не оборачиваясь. — Ты зачем губами шевелишь?

— Я не шевелю.

— Шевелишь, — сказал Прохоров. — Ты мне строй не сбивай.

* * *

Вечером в казарме Тимур рассказывал, как он сюда попал.

Спор начался из-за одеяла.

— Оно моё, — сказал Гриша.

— Оно казённое, — сказал Мазур. — Тут всё казённое. Даже ты.

— У меня с утра было моё.

— У тебя с утра было два. Одно ты продал.

— Не продал, а обменял.

— На что?

Гриша помолчал.

— На печенье.

Казарма засмеялась, и Гриша обиделся всерьёз: он покраснел, отвернулся к стене и накрылся тем самым спорным одеялом вместе с головой.

— Отдай ему, — сказал Тимур. — Он мелкий.

— Я не мелкий, — сказал из-под одеяла Гриша.

— Ты мелкий и жадный, — сказал Тимур. — Это нормально. Я тоже жадный: я в прошлом наборе стырил у сержанта сапоги, а он их искал три дня и потом плакал.

— Сержанты не плачут.

— Этот плакал. Он был из наших, из ашек: дорос до сержанта и не вырос из жалости.

Арсений лежал и слушал, и ему вдруг стало легко — не потому, что было смешно, а потому, что впервые за неделю кто-то говорил не о том, кто умрёт, а о печенье и одеяле.

Утром одеяло лежало на кровати Гриши, а на кровати Мазура — не было ничего, и он не сказал ни слова, и никто не сказал ему спасибо, потому что в казарме за это не благодарят.

— Мне дядя говорил: если аура гудит — ты чутьё, если стоит — ты танк. Я пришёл, мне сказали: ты, пацан, ровный. Как забор. Я говорю: забор — это хорошо? Они говорят: забор — это замечательно, заборов у нас мало.

Он лежал на койке, закинув руки за голову, и на левой у него не было двух пальцев — с детства, с завода, куда он лазил за медью.

— А ты чего шевелишь губами? — спросил он Арсения.

— Считаю.

— Что считаешь?

— Всё, — сказал Арсений. — Койки, шаги, лампы.

— Сколько ламп?

— Двенадцать.

Тимур посмотрел на потолок.

— Двенадцать, — согласился он. — Слушай, а зачем?

Арсений подумал.

— Чтобы не забыть, — сказал он.

Он сказал это не про лампы. Но объяснять было долго, а Тимур уже отвернулся и спал — так, как спят люди, у которых завтра дыра и которые уже решили, что не умрут.

Ночью в казарме начался один и тот же разговор — тот, который идёт в каждом наборе.

— Говорят, ашек не выпускают, — сказал кто-то с дальней койки. — Говорят, контракт — это насовсем.

— Врёшь, — сказал Тимур.

— Мне брат говорил. Он в девятом отряде.

— У тебя нет брата, — сказал Тимур. — Я у тебя спрашивал.

Тот замолчал.

— Слушайте сюда, — сказал Тимур, и в темноте стало слышно, как он сел. — Всё, что вы слышали про ашек, — правда. И про контракт, и про расход, и про то, что за нас платят вперёд, как за мешки. Но есть одна вещь, про которую вам никто не скажет, потому что её не пишут в бумагах.

— Какая?

— Выход, — сказал Тимур. — За выход платят долю. А доля — это не деньги. Это строчка. Понимаете? Ты один раз закрыл очаг — и ты уже не ашка, а тот, кто закрыл.

— И сколько надо выходов?

— Восемь, — сказал Тимур. — У меня знакомый за два года сделал восемь и ушёл в линейные. Правда, он без руки.

Казарма засмеялась — коротко, в темноте, как смеются люди, которым страшно и которые не хотят это показывать.

Арсений лежал и считал: восемь выходов, два года, одна рука.

— А если не сделаю восемь? — спросил он.

— Тогда тебя спишут, — сказал Тимур. — И ты поедешь домой, и будешь рассказывать, как был охотником. Это, между нами, тоже неплохо.

Кожин, лежавший у стены, сказал в темноте:

— Двадцать два.

— Что двадцать два?

— До столовой, — сказал Кожин. — Двадцать два шага. Я всегда знаю, сколько куда.

— И зачем?

— Чтобы не потеряться, — сказал Кожин.

Арсений лежал и слушал, как в казарме дышат тридцать человек, и в груди, внутри, ровно, шло число. Он не знал, чему оно равно. Он знал только, что оно меньше вчерашнего.

* * *

Отряд собрали через три дня.

Их было шестеро: Прохоров, наблюдатель от Лиги по фамилии Айсен — худой, немногословный, с бинтом на пальцах, — и четверо ашек. Тимур, который до всего был охотник пошутить; Витя Кожин, который считал шаги; Гриша, толстый и тихий; и Арсений.

— Тринадцатый сводный, — сказал Прохоров. — Задача: очаг в подвале ТЭЦ. Класс А, малый. Заходим, ставим манжеты, закрываем. Работа на сорок минут.

— А ядро? — спросил кто-то из строя.

— Ядро внутри, — сказал Прохоров. — Ядро и есть очаг. Очаг — это дыра, а ядро — то, что в ней сидит и греет. Вытащим ядро — дыра закроется.

— А куда его потом?

— По бумаге — в институт, — сказал Прохоров. — По жизни — смотря кто вытаскил.

— А если не малый? — спросил Тимур.

— Тогда бежим, — сказал Прохоров. — Кто бежит быстрее всех?

— Кожин, — сказал Тимур. — Он за двадцать две секунды до столовой.

— Кожин бежит первым, — сказал Прохоров. — Остальные держат порядок.

Он развернул на ящике схему: длинный прямоугольник, поперёк — две линии.

— Работаем щитами, — сказал он. — Мана не бесконечная, поэтому так: Тимур ставит «Стену» на входе и стоит; Кожин смотрит за левым краем; Гриша с баллоном; Четвёртый считает.

— Что считать? — спросил Арсений.

— Всё, — сказал Прохоров. — Шаги, воздух, двери. Ты не читаешься, значит, будешь глазами. У нас глаз нет, у нас только ты.

* * *

Перед выходом дали десять минут на звонок.

Телефон стоял в коридоре штаба, на подоконнике, и к нему была очередь из восьми человек. Арсений стоял восьмым.

— Мирон? — сказал он, когда в трубке зашуршало. — Это я.

— Арс! — сказал Мирон. — А я калибр видел! Мне сказали, в двенадцать придут и померят, а пока нельзя.

— Померяют.

— А ты когда приедешь?

— Скоро.

— А ты вернёшься?

Он посмотрел на очередь, на куртки, на одинаковые буквы А на нашивках.

— Вернусь, — сказал он.

— Запиши, — сказал Мирон. — Ты всегда говоришь: запиши. Запиши, что вернёшься, и тогда я не буду бояться.

— Запишу.

— Нет, ты сейчас запиши. Я подожду.

Арсений достал из кармана куртки тетрадь — тонкую, в клетку, за тридцать рублей, — и написал на первой странице, прижав её к подоконнику:

«Вернусь. Мирон ждёт».

— Написал, — сказал он.

— Хорошо, — сказал Мирон. — Тогда иди. У тебя там что?

— Подвал.

— Большой?

Арсений посмотрел в окно: за стеклом шёл снег и ничего больше не было видно.

— Не очень, — сказал он.

* * *

Подвал был низкий, и в нём было тепло.

Слишком тепло. На улице стоял февраль, за стеной шёл снег, а в подвале из вентиляционного стояка шёл пар, и пар этот пах железом и сладким.

— Вот, — сказал Айсен и показал рукой.

Между трубами, там, где пол просел, была дыра. Небольшая: в неё прошёл бы человек, если бы сложился. Из дыры поднимался тот самый тёплый воздух, и от него на потолке не садилась копоть, а складывался узор — как круг на воде.

Арсений смотрел на узор и считал. Он не решал считать: он слышал числа, как слышат чужой разговор за стеной. Три метра до дыры. Полтора метра до трубы. Двенадцать шагов до лестницы. И ещё одно число, которое ему не понравилось.

— Там не сорок минут, — сказал он.

Прохоров обернулся.

— Что?

— Я не знаю, — сказал Арсений. — Там что-то большое.

— Он считает, — сказал Тимур. — Он у нас как счётчик.

— Молчи, — сказал Прохоров. Он посмотрел на дыру, на пар, на узор. Потом на Арсения — коротко, как смотрят на прибор. — Насколько большое?

— Я не знаю, — повторил Арсений. — Просто большое.

— Значит, так, — сказал Прохоров. — Меняем порядок. Тимур, стена не на входе, а вот здесь, у трубы. Кожин, ты за лестницу. Гриша, баллон в руку. Четвёртый, ты идёшь за мной и считаешь вслух.

— Вы же сказали не считать вслух.

— Мне сказали, — сказал Прохоров. — Тебе можно.

* * *

Оно вышло на четвёртой минуте.

Дыра не расширилась и не взорвалась: пар просто пошёл вбок, как от сквозняка, и из дыры, раздвинув трубы, поднялось что-то.

Арсений не сразу понял, что видит. Оно было похоже на собаку, если собаку сложить из мокрого бетона: плечи шире человеческих, голова низко, ноги короткие, и по всему телу — серая крошка, которая сыпалась и тут же затягивалась снова, как затягивается корка на ране.

В нём было два метра. И в нём не было глаз.

— Второй! — крикнул Прохоров. — Тимур, стену!

Тимур выставил руки, и между ним и трубой воздух стал плотным: не стекло, а мутная, дрожащая перегородка — «Стена», ману на неё Тимур потратил почти всю, и Арсений это увидел. Он видел ману. Она была как пар, только внутри людей.

Навья ударила в стену и не пробила.

Ударила второй раз, и по стене пошла трещина.

— Влево! — сказал Арсений.

Он не знал, почему он это сказал. Он видел: у навьи серое тело и один сухой сустав, за правой лопаткой, где крошка не затягивалась.

— Влево, — сказал он. — Там сухо.

Прохоров не спросил, почему. Он шагнул влево, взял разгон, и его протез вошёл в это место, как ключ в замок.

Навья села на пол.

Она не умерла. Она стала рассыпаться — медленно, слой за слоем, и Арсений услышал, как крошка сыплется на бетон и как из-под неё идёт воздух.

А потом из дыры пошёл пар, и стало слышно, что там, внизу, кто-то дышит. Ровно. Крупно.

— Второй, — сказал Прохоров.

— Второй, — согласился Айсен.

— Кожин, сколько до лестницы?

— Двадцать два шага, — сказал Кожин.

— Двадцать два, — сказал Прохоров. — Четвёртый, сколько у меня маны?

Арсений посмотрел.

Он не собирался смотреть: просто в груди, под грудиной, там, где стояла точка, стало тепло, и он увидел Прохорова насквозь — серую вязь протеза, медленное дыхание, пустой резервуар.

— У вас нет, — сказал он. — Совсем.

Прохоров молчал.

— Тогда бежим, — сказал он. — Кожин первый, Гриша за ним, Тимур стены не ставит. Я последний.

— А я? — спросил Арсений.

— А ты считаешь, — сказал Прохоров. — Считаю, пока я не скажу «хватит». Ты единственный здесь, кто видит, откуда оно придёт.

Они успели дойти до лестницы, когда из дыры пошло не одно.

Их было трое. Мелкие, не выше пояса, на четырёх коротких ногах, без глаз и без кожи — только серая крошка, и они бежали по бетону так, как бежит рассыпанное.

— Второй, — сказал Прохоров.

— Вижу.

— Гриша, баллон!

Гриша поднял баллон, и струя пошла вперёд: не огонь, а белая, сухая, как мука, пыль, и там, где она попадала на серое, серое останавливалось и начинало трескаться.

Двое остановились. Третий обошёл по трубе.

Арсений увидел его раньше, чем он прыгнул.

— Слева! — сказал он.

Кожин развернулся, подставил руку, и навья вошла в него, как входит нож в масло. Она прошла насквозь — сквозь куртку, сквозь руку, — и Кожин закричал.

Тогда Арсений сделал то, чего не делал никогда.

Он взял.

Он не знал, что берёт и у кого: просто в груди, где стояло число, стало горячо, и он почувствовал, как из Тимура, стоящего рядом, к нему тянется тонкая, как след на стекле, нить — то, чем Тимур держал свою «Стену».

— Стену, — сказал Арсений.

И стена встала: не у Тимура, а между третьей навьей и Кожиным. Дрожащая, мутная, слабая, но встала.

Навья ударила и не прошла.

Потом она ударила второй раз, и стена лопнула, и Арсения бросило на трубу так, что из носа пошла кровь.

Но Кожин был уже за лестницей, а Гриша тащил баллон наверх.

— Уходим! — крикнул Прохоров. — Тимур стену не ставит, у него пусто! Четвёртый, считай!

Арсений считал.

Он считал, пока они поднимались: двенадцать ступеней, шесть человек, три пустых резервуара, сорок метров до двери.

У двери он упал на колени, и его вырвало.

Пар из дыры шёл вверх и не расходился. В нём, как в мокром стекле, отражалась стена, трубы, лестница и шесть человек.

Себя Арсений в отражении не увидел.

* * *

В кузове было тихо.

Кожину перетянули руку, и он сидел, глядя в одну точку, и вслух считал — не шаги, а что-то своё, чего никто не понимал. Гриша держал баллон, хотя баллон был пустой. Тимур молчал.

Прохоров сидел напротив Арсения.

— Кто тебя научил? — спросил он.

— Никто.
— Взял чужое.
— Я не знал, что беру.
— Все не знают, — сказал Прохоров. — Первый раз — никто не знает.
Он помолчал.
— Слушай сюда, Четвёртый. То, что ты сделал, называется «взять». Ты взял у Тимура его стену, а у Тимура маны не осталось, и если бы там был кто-то поумнее, он бы взял не стену, а тебя. Один раз. Понял?
— Понял.
— И второе, — сказал Прохоров. — Ты читаешься, когда берёшь. Не аура — ты. У тебя лицо становится, как у нас, когда мы считаем. А тебе нельзя. Ты — ашка с прочерком в графе, тебе и так никто не верит. Если увидят, что ты берёшь чужое, тебя не в подвал отправят, тебя отправят в институт.
Арсений посмотрел на него.
— В какой институт?
— В тот, — сказал Прохоров, — где за одного такого, как ты, платят сорок тысяч.
И не спрашивай больше. И вот что: научись прятать. Ауру прячут только мастера, я не мастер, я тебе не покажу. Но ты попробуй. Иначе тебя съедят свои же.
Он отвернулся.
— И тетрадь, — сказал он. — Свою. Никому не показывай.
Дома, ночью, он снял куртку и повернулся к зеркалу спиной.
Под левой лопаткой, ниже шеи, у него была короткая чёрная чёрточка — длиной с ноготь, ровная, как след от карандаша.
Он не знал, откуда она. Тёр её мочалкой, пока кожа не покраснела, но чёрточка не исчезала. Вспомнилось, как Прохоров ещё до выхода спросил его на построении про губы.
— Считаешь, — сказал он вслух, в пустой ванной.
Отражение молчало.
Чёрточка была тёплая, как место, где под кожей идёт кровь.

Глава 2. Потери

В госпитале Лиги пахло так же, как в управлении: хлоркой и мокрой шерстью.

У Кожина забрали руку до локтя. Он лежал и не спал — смотрел в потолок и считал: губы шевелились, и Арсений слышал числа. Двадцать два. Двадцать два. Двадцать два.

— Он так с обеда, — сказала санитарка. — Мы ему укололи, а он всё равно.

— Он не от боли, — сказал Арсений. — Он чтобы не потеряться.

Санитарка посмотрела на него и ничего не сказала.

В коридоре на подоконнике лежал журнал сводок, и в нём была строка про тринадцатый сводный: «потери понесены, двое, очаг класса А, объект закрыт». Раненые считались потерями до конца месяца: Кожин без руки, Арсений после удара о трубу.

Арсений сел на пол, у батареи, и достал тетрадь.

Он записал:

«Витя Кожин. Руку забрали. Считает двадцать два. Я обещал, что запомню».

Потом он подумал и добавил:

«Я не беру больше без нужды».

Это была первая запись, которая оказалась ложью.

* * *

Перед выпиской он зашёл к Кожину.

Тот сидел на койке, пустой рукав подколлот, и смотрел в окно. Рядом с ним сидела женщина в халате — врач, молодая, усталая, — и записывала в карту.

— Как он? — спросил Арсений.

— Тело зажило, — сказала врач. — Голова нет.

— Что это значит?

— Это значит, что он считает, — сказала она. — Мы его обследовали: память цела, речь цела, а счёт не выключается. Он может остановиться, если его отвлечь, но через минуту начинает снова. Это не болезнь, это привычка, которая стала домом.

— Его можно вылечить?

— Никто не знает, — сказала врач. — Таких, как он, двести сорок человек по стране. Мы их называем «счётчики». Им дают пенсию и комнату.

— А ему?

— Ему дадут пенсию и комнату, — сказала врач. — Он не будет больше ходить. Он никому не нужен: у него одна рука.

— Мне нужен, — сказал Арсений.

Врач посмотрела на него.

— Тебе четырнадцать, — сказала она. — Ты тоже счётчик. Я вижу, как ты считаешь: губы шевелятся. Я тебе скажу то, что говорю всем: пей воду, спи восемь часов и не считай вслух.

— Почему?

— Потому что тот, кто считает вслух, — сказала врач, — рано или поздно начинает считать людей.

Она вышла.

Кожин сказал, не поворачивая головы:

— Двадцать два.

— Что двадцать два, Витя?

— Двадцать два шага, — сказал Кожин. — Отсюда до выхода. Я считал.

— Ты в палате, — сказал Арсений. — Тут нет выхода.

— Есть, — сказал Кожин. — Вон там, за дверью. От койки двадцать два шага.

— А если больше?

— Не бывает больше, — сказал Кожин. — Я мерил: меня водили в уборную, и я считал.

Он повернул голову и посмотрел на Арсения.

— Слушай, — сказал он. — Ты мне скажи одну вещь. Руку забрали — это ничего, руки не жалко, она у меня и не гнулась. Но я хочу знать: я хоть что-то сделал?

— Ты держал стойку, — сказал Арсений.

— Это мало.

— Это всё, — сказал Арсений. — Если бы ты не держал, мы бы не вышли. Мы вышли, потому что ты держал.

Кожин смотрел на него долго, потом сказал:

— Тогда хорошо.

И снова принялся считать.

— Что двадцать два, Витя?

— Двадцать два шага, — сказал Кожин. — Отсюда до выхода. Я считал.

Через девять дней их позвали снова.

Сбор был в шесть утра, и на нём Тимур впервые назвал его по имени.

— Арсений, — сказал он. — Слушай, ты как?

— Нормально.

— Не нормально. Ты с ТЭЦ не спишь: я вижу, у тебя глаза как у меня, когда я двое суток в стенке стоял. — Тимур сунул ему фляжку. — Чай. С сахаром. Пей.

— Ты мне не мать.

— Я тебе танк, — сказал Тимур. — А танку положено прикрывать.

Он помолчал и добавил:

— И вот что. Гриша боится баллона. Он его боится с ТЭЦ, но не говорит, потому что стыдно. Ты его не гони.

— Не буду.

— А Прохоров тебя бережёт.

— Почему ты так решил?

— Потому что он тебя в тыл не посылает, — сказал Тимур. — Он тебя всё время ставит рядом с собой. Значит, бережёт или проверяет. Я думаю, проверяет.

— Он сказал: я единственный, кто видит.

— Вот, — сказал Тимур. — А танку видящий нужен больше, чем танк. Поэтому я тебя и держусь.

Прохоров вышел из штаба и посмотрел на них.

— Три минуты, — сказал он. — И я хочу слышать план, а не разговоры.

Очаг был в коллекторе, под старой ТЭЦ, там, где город сходил в трубы. Класс Б — не их класс: тринадцатый ходил по подвалам и кладбищам, а на Б ставили линейные отряды, с людьми, с оружием, с прикрытием.

Но линейных не хватало, и в управлении решили: пусть ашки поработают там, где не надо считать.

— Работа простая, — сказал офицер, тот же, что принимал Арсения в январе, и он смотрел на них так, как смотрят на инвентарь. — Заходите третьими, стойте у стены, держите манжеты. Ваш участок — вот этот, слепой. Если что — бежите на второй ярус, там линейные.

— А если линейные не удержат? — спросил Тимур.

— Тогда бежите на третий, — сказал офицер. — Там уже никого.

Их поставили третьим номером, за спинами настоящих отрядов, в слепом участке: там не было ни света, ни связи, ни выхода, кроме одного.

С ними в коллектор вошёл «Столб-1» — четыре человека, все на букву Г, все в новых комбинезонах, и первым шёл молодой парень с ровным, спокойным лицом. Ему было двадцать два; в рейтинге он стоял третьим; и когда он проходил мимо, воздух вокруг него стоял плотно и не двигался, как стоит вода в стакане.

Арсений посмотрел на него и понял, что аура может быть тяжёлой. У Г она давила: не на кожу, а куда-то в грудь, в то самое место, где стояла точка.

— Ярцев, — сказал парень, не останавливаясь.

— Громов.

— Знаю, — сказал Ярцев. — У тебя прочерк в графе класса. Первый раз вижу.

Он не сказал это грубо. Он сказал это, как говорят про редкую монету, и пошёл дальше.

* * *

Перед спуском был час ожидания, и в этот час линейные сидели на ступенях и ели из банок.

Сержант Белов — широкий, с обветренным лицом, в куртке, которая была ему мала, — подсел к тринадцатому и посмотрел на них, как смотрят на детей на вокзале.

— Ашки, — сказал он. — Вы чего тут?

— Стоим, — сказал Тимур.

— Стойте. — Белов открыл банку, понюхал, поморщился. — У меня сын такой же, как вы. Четырнадцать. Слушай, малой, — он посмотрел на Арсения, — ты, говорят, считаешь?

— Считаю.

— Тогда считай, чтобы мы все вышли. И вот что. — Он вдруг перестал улыбаться. — Если что, скажи матери, что я не мучился. Мать в Назарове, улица Мира, четырнадцать. Она глухая, ей надо громко. Запомнишь?

— Запомню, — сказал Арсений.

Он сказал это легко. Люди вокруг говорили такие вещи каждую неделю, и никто не помнил, потому что помнить всех невозможно.

Через два часа он стоял на коленях в коллекторе и считал раненых, и в списке раненых Белова не было.

Очаг открылся на третьем часу.

Он не рванул и не выстрелил: сначала в трубах загудело, потом из стены, из старой кирпичной кладки, пошёл пар — тёплый, сладкий, с железом.

— Работаем, — сказал в рации голос линейного.

Их участок был слепой, и это значило: они не видели ничего, кроме трубы и стены. Дальше поворот, за поворотом свет, за светом — все.

Они стояли.

У Тимура текли руки: он держал манжету, и манжета тянула из него ману понемногу, как тянет кровь пиявка. Кожин в их отряде больше не был.

Гриша держал баллон. Арсений смотрел на стену и считал.

Он считал не потому, что так велел Прохоров: просто в груди, под грудиной, шло число, и число это не сходилосъ. Три метра стены. Четыре точки опоры. Восемь человек за поворотом. Один — против.

— Прохоров, — сказал он в рацию. — Там один.

— Один чего?

— Один, — сказал Арсений. — И он большой.

В рации молчали три секунды.

— Тринадцатый, назад, к лестнице, — сказал Прохоров. — Быстро.

Поздно.

Стена не сломалась — она вышла.

Кирпич разошёлся, как раздвигается занавес, и в слепом участке стало светло от пара. То, что стояло в паре, было больше человека вдвое: плечи в серых наростах, руки до колен, и по всему телу — серые жилы, натянутые, как струны.

Служка.

Арсений видел Служек только на картинках. На картинках они были как псы. Этот был как человек, который очень долго жил в трубе и там же вырос.

— Стена! — крикнул Прохоров.

Тимур выставил руки. Стена встала — и тут же пошла трещинами, потому что у Тимура почти не осталось маны: манжета вытянула его за два часа.

Служка ударила.

Гриша успел поднять баллон, и струя пошла в серое, и серое зашипело, но тварь не остановилась: она прошла сквозь пар, взяла Гришу за руку — за руку с баллоном — и сжала.

Арсений услышал, как хрустнуло. Не как ломается дерево: как ломается что-то маленькое и мокрое.

Гриша не закричал. Гриша сел на пол и заплакал, тихо, как плачут дети.

— Тимур, вниз! — крикнул Прохоров.

Тимур не успел.

Служка взяла его за куртку, подняла, как поднимают кошку, и Арсений увидел, как под серыми наростами, там, где она держала, куртка Тимура начала дымиться.

И тогда он взял.

Он взял у Тимура то, что у Тимура ещё оставалось: не стену — зрение.

У Тимура было ночное зрение — малое умение при его танковой ветке. Арсений никогда этого не умел. Он взял это и впервые в жизни увидел коллектор не светом, а расстоянием: трубы, вода, поворот, восемь человек, и Служку — всю, насквозь, до сухого места под левой рукой, где не было жил.

— Левая подмышка, — сказал он вслух. — Там сухо.

Прохоров не спросил, откуда он знает. Он шагнул вправо, взял разгон, и его протез вошёл в сухое место, как входит ключ.

Служка разжала руку.

Тимур упал.

Тварь ещё стояла — и в неё ударили оба линейных отряда, и пар пошёл вверх, и всё кончилось так быстро, что Арсений не успел ни обрадоваться, ни испугаться.

Он стоял на коленях и считал раненых: восемь человек, две руки, три ноги, один баллон, сорок метров до лестницы.

Он всё ещё видел в темноте. И он всё ещё не помнил, что было до того, как он взял.

* * *

В управлении их продержали до вечера.

Офицер, который утром смотрел на них как на инвентарь, теперь заполнял бумагу, и в бумаге уже стояло то, что стояло всегда.

— Потери: трое, — сказал он. — Один — «устанавливается». Объект закрыт. Тринадцатый сводный — молодцы.

— Он умер на лестнице, — сказал Прохоров. — Его звали Белов. Сержант. Он держал поворот, пока шли остальные.

— Я знаю, как его звали, — сказал офицер. — Я пишу не про него. Я пишу про объект.

Прохоров посмотрел на него и ничего не сказал. Он умел так смотреть: без злобы, без угрозы, просто запоминая.

Потом, в коридоре, он взял Арсения за плечо и развернул к стене.

— Ты брал, — сказал он тихо. — Дважды.

— Сегодня один.

— Дважды, — сказал Прохоров. — Зрение ты взял у Тимура, я видел, как он ослеп на минуту и как он потом тёр глаза. Он тебе не скажет, он добрый. И вот что: сегодня ты спас ему жизнь, поэтому я молчу. Но если он тебе после этого понадобится ещё раз — ты его убьёшь, потому что у него больше ничего нет.

Он отпустил плечо.

— Всё, иди. И запомни ещё одно: тебя записали. В карточке теперь есть строка «взятие чужого». Через месяц эту строку увидит один человек в Москве, а через два — другой. И с этого дня ты не ашка, ты интересный случай. Интересные случаи у нас не живут долго.

В лазарете дали сутки.

Он не спал. Он сидел и писал — потому что знал правило: то, что не записано, уходит первым.

Он написал Гришу, Кожина, Тимура, Прохорова. Написал, кто они, что говорят, чего боятся. Он писал два часа; почерк был хороший, ровный, и в конце он перечитал написанное и понял, что не помнит одного человека.

В листе была строка: «Белов, сержант, четвёртый линейный. Сказал: „Если что, скажи матери, что я не мучился“».

Арсений перечитал строку трижды. Он не помнил лица. Он не помнил, как Белов это сказал и сказал ли вообще.

Прохоров сказал, что Белов умер на лестнице. Это Арсений помнил. А самого разговора перед спуском в голове не было — будто он ничего не обещал сержанту, будто они даже не разговаривали.

И всё равно он сидел и смотрел в строку, и в груди стояло пустое, ровное место, как на месте зуба.

Он дописал под строкой, печатными буквами:

«Я не помню Белова. Я не помню, говорил ли он это. Записал, потому что кто-то должен помнить, а я больше не могу».

* * *

Тимур пришёл ночью, хотя его не пускали.

Он сел на край койки и долго молчал, а потом сказал:

— Ты у меня зрение взял.

— Взял.

— Я в темноте перестал видеть, — сказал Тимур. — На минуту. Как будто лампу выключили. А потом включили, но уже не так: раньше я в темноте видел всё, а теперь только серое.

Он помолчал.

— Ты меня этим спас. Я знаю. Тимур, который видит в темноте, умер бы в той трубе, а я живой. Только скажи мне честно: ты правда не мог иначе?

— Не мог, — сказал Арсений.

Он не соврал. Он мог иначе — мог ничего не брать и умереть вместе с ним. Он этого не сделал, и оба это знали.

— Ладно, — сказал Тимур и встал. — Тогда вот что: если я тебе ещё понадобится, бери. Я не хочу, чтобы ты брал у Гриши, он и так плачет.

Он ушёл, и Арсений лежал в темноте и считал: два человека, три этажа, одна лестница.

Утром пришёл Ярцев.

Он вошёл в лазарет, не спросив разрешения, и сел на табурет напротив. Он был в том же комбинезоне, чистый, ровный, и от него всё так же давило в грудь.

— Сколько ты взял? — спросил он.

— Что?

— У тебя был прочерк в графе класса, — сказал Ярцев. — Теперь у тебя не прочерк. Я смотрел карту: «взятие чужого, первый уровень».

Арсений молчал.

— Не бойся, — сказал Ярцев. — Я не в управление. Мне интересно другое. Второй раз ты взял у Тимура. Первый — тоже у него. Ты берёшь у своих, потому что чужих рядом не бывает. Так делают все, кто умеет. Знаешь, что потом?

— Что?

— Потом ты начнёшь брать у мёртвых, — сказал Ярцев спокойно. — У мёртвых брать проще: они не мешают. И вот тогда тебя заметят.

Он встал.

— И ещё. Ты вчера читался. Не аура — ты. Пока ты брал, от тебя шло, как от Г: плотно и тяжело. А через час ты был ашкой. Никто так не умеет, кроме мастеров.

— Я не умею, — сказал Арсений.

— Уже умеешь, — сказал Ярцев. — Полчаса. Может, час. Но ты умеешь. Значит, тебе придётся научиться это выключать, а то тебя съедят.

Он пошёл к двери и на пороге обернулся.

— Мне двадцать два, — сказал он. — Я на букве Г с шестнадцати. Тебе четырнадцать, и у тебя прочерк в графе. Через год я буду тебя бояться. Я к этому готовлюсь.

Дверь закрылась.

* * *

Дома он снял рубаху и встал перед зеркалом, заведя руки за спину.

Под левой лопаткой было две чёрточки: короткая, старая, и вторая, рядом, свежая и длиннее. Они соединялись, как соединяются ветки на рисунке у детей, когда рисуют дерево от ствола.

Он потрогал их и понял, что они тёплые. Не горячие: тёплые, как место, где под кожей идёт кровь.

Он оделся и сел писать.

«1 марта. Взял второе. Забыл Белова, сержанта, который просил сказать матери. Ярцев знает.

Татуировка выросла на чёрточку.

Что я ещё забыл, я не знаю. Записывать надо больше, а времени меньше. Значит, буду писать по утрам, до выхода».

Он закрыл тетрадь и лёг.

За стеной, в соседней комнате, спал Мирон, и во сне он говорил — тихо, неразборчиво, как говорят дети, когда им снится, что они бегут.

Арсений лежал и слушал. Он хотел почувствовать что-нибудь — нежность, страх, что-нибудь, — и не почувствовал ничего: только внутри ровно шло число, и число это было на единицу меньше, чем вчера.

Тогда он зажёл лампу, сел и написал ещё одну строку, чтобы не забыть и её:

«Я заметил, что больше не боюсь за него. Надо проверить это завтра. Если и завтра не буду — значит, дело не в усталости».

Глава 3. Дао

Его завалило на кладбищенском выходе, четвёртого марта, когда на открытых холмах снег начал сходить и земля на холмах стала мягкой.

Очаг был малый, класса А, работа — на час. Кладбище стояло на склоне, могилы шли террасами, и между ними открылась щель: узкая, тёплая, с паром.

— Трое внутрь, двое наверху, — сказал Прохоров. — Четвёртый, считаешь.

— Кладбище, — сказал Тимур. — Ну и работа у нас. Мёртвые, живые — все в одной яме.

— Тимур.

— Молчу, молчу. — Он поставил ногу на борт и посмотрел в сторону холмов. — Слушай, а почему всегда кладбища? Я заметил: у нас или подвал, или кладбище. Ни разу — парк.

— Потому что там земля мягкая, — сказал Гриша.

— И потому что там никто не живёт, — сказал Прохоров. — Очаг в жилом доме — это ЧП, очаг на кладбище — это работа. Так писали в бумагах ещё до нас.

— Красиво, — сказал Тимур. — Люди живут там, где удобно, а дыры открываются там, где не страшно.

— Не открываются, — сказал Арсений.

Все посмотрели на него.

— Они тянутся к теплу, — сказал он. — На кладбище тихо и земля тёплая от разложения. Значит, дыра придёт туда, где её никто не ждёт, — под теплицу, под баню, под курятник.

— Ты это сейчас придумал? — спросил Тимур.

— Я это посчитал, — сказал Арсений.

Прохоров молчал, потом сказал:

— Запомните это. Если он прав — а он, кажется, прав, — то через десять лет все наши карты очагов ничего не будут стоять.

— Молчи, — сказал Прохоров, когда Тимур открыл рот.

— Я не про то. Я про то, что тут земля мягкая. Если что — закопают быстро.

— Тимур.

— Молчу.

Гриша сидел на борту машины и держал свою руку — ту, которую ему собрали из нити, — как держат чужую вещь. Пальцы двигались, но не все: два не слушались.

— Гриша, — сказал Арсений. — Болит?

— Нет, — сказал Гриша. — Она холодная. Как будто не моя.

— Пройдёт.

— Ага, — сказал Гриша и отвернулся.

Прохоров развернул на капоте схему — три линии, четыре точки.

— Слушайте один раз. Очаг малый, класса А, но малый — это не значит добрый. Кладбище на склоне, склон ползёт: в марте тут сошло два метра земли. Внутрь идём втроём, не больше. Ты, — он показал на Арсения, — считаешь. Ты, — Тимуру, —

держишь вход, стену не ставишь без команды: у тебя её хватит на минуту. Гриша наверху, баллон не тратит.

— А если гнездо? — спросил Тимур.

— Тогда выходим, — сказал Прохоров. — И запомните: в гнездо не лезем никогда. Гнездо — это не очаг. Гнездо — это дом, и хозяин в нём главный, а не мы.

Он посмотрел на Арсения.

— Четвёртый, ты у нас теперь глаза. Как у тебя со счётом?

— Считает, — сказал Тимур. — Он в казарме лампы посчитал. Двенадцать.

— Я не про лампы, — сказал Прохоров. — Я про то, что он тогда увидел у навьи: сухое место. Ты это как сделал?

— Я не знаю, — сказал Арсений. — Я просто увидел.

— Ладно, — сказал Прохоров. — Просто увидел. Тогда вот что, просто видящий: если увидишь, что мы умираем, — говори сразу. Не думай, понял? Сразу.

Арсений спустился третьим.

Внутри было тесно и мягко: стены из земли, корни, и по корням шёл свет, слабый, как будто солнце светило сквозь одеяло.

Он считал: шесть метров до поворота, четыре до второго, два до третьего. На третьем он увидел.

Там, в земляной нише, лежало то, что осталось от человека, и рядом с ним сидела навья — маленькая, серая, размером с ребёнка. Она не бросилась. Она посмотрела на него, и в её глазах ничего не было: ни злобы, ни голода. Только счёт: он понял это сразу, как понимают чужой язык в чужой стране.

— Прохоров, — сказал он в рацию. — Тут малая. И тут человек.

— Человек живой?

Он посмотрел.

— Нет.

— Уходи, — сказал Прохоров. — Малая — значит, гнездо. Уходи сейчас же.

Он сделал шаг назад.

Потом земля над ним вздохнула.

Он не успел ни испугаться, ни закрыть лицо. Потолок ниши пошёл вниз — не обвалился, а именно пошёл, — и его прижало к стене, к корням, всей тяжестью склона.

Он услышал, как хрустнуло: раз, другой. Потом перестал слышать.

Свет погас не сразу. Сначала он стал серым, потом красным, потом узким, как щель, и потом в щели стало тихо.

«Считай», — сказал кто-то.

Он подумал, что это Прохоров. Но Прохорова здесь не было: в рации шипело, и в шипении не было ни голоса, ни слов.

«Считай», — сказал кто-то ещё раз, и это было уже не слово.

Он посчитал.

Он посчитал, сколько в нём осталось: воздуха, крови, тепла, времени. Четыре минуты, может, пять. Он посчитал, кто придёт: никто не придёт, потому что склон стоит и будет стоять.

И тогда он умер.

Он не понял этого слова, но понял смысл: он лежал, и он больше не был в этом теле, и тело больше не болело. Он был в другом месте.

Это место было большое и чёрное, и в нём было пусто, как в цеху ночью.

Он стоял босиком на чёрном полу. Впереди, далеко, стоял круг — не свет, а место, где было чуть светлее, чем вокруг, — и в круге росло дерево. Не дерево: семь стволов из одной точки, и каждый ствол шёл вверх и делился на ветви, а ветви были тонкие и длинные, как нити.

Он пошёл по кругу и увидел, что у каждого ствола стоит своё.

У первого — огонь: не пламя, а место, где воздух дрожит и просит, чтобы его зажгли. У второго — вода, тонкая, как стекло, стоит в воздухе и ждёт. У третьего — камень, тяжёлый и глухой: поднимешь — устанешь. У четвертого — ветер, который ничего не весит. У пятого — стрелка: он понял, что если взять её, то можно будет замедлить чужое время, и что это дорого стоит. У шестого — дверь, которая была и не была. У седьмого не было ничего: он был тонкий и рос прямо в него, и от него в груди было тепло, как от взгляда.

Он хотел дотронуться до первого ствола.

Не получилось: ствол стоял за стеклом, которого не было, и в стёклах отражались вещи, лежащие на полу. Талон на молоко. Пропуск отца. Банка варенья.

Он понял: стёкла откроются, когда он заплатит. И платить надо не деньгами.

Он подошёл.

А вокруг стволов, на чёрном полу, лежали вещи.

Он наклонился и увидел: это были его собственные. Первый пропуск с работы отца, с косой чёрточкой. Талон матери на молоко — маленький, серый, с датой. Банка варенья, которую принёс Пеструхин. Детский рисунок, где восемь чёрточек и нижняя длиннее.

Вещей было много, и они были не разбросаны: они лежали рядами, как на складе, и у каждой было своё место.

Тогда он понял, что это.

Это было его. Всё, что он помнил, лежало здесь и имело цену.

И в этом месте не было голоса. Не было ни «я», ни «ты», ни «мы». Была только надпись, которая появлялась там, где он смотрел, — простая, короткая, без всякого чувства:

ДАО. ХОД ПЕРВЫЙ. ВЗЯТЬ МОЖНО ОДНО. ВЫБРАН: ТОТ, КТО ВСТУПАЕТСЯ БЕЗ СИЛЫ. СОСУД ГОДЕН. ОСТАЛОСЬ НАПОЛНИТЬ.

Он читал и понимал, хотя буквы не были буквами. И рядом с надписью стояло то, что он мог взять.

Он не выбирал стволы: стволы были далеко и закрыты. Ему давали мало.

ДОСТУПНО: СЧЁТ. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВИДЕТЬ: ЗАПАС. СЛАБОЕ МЕСТО. ОСТАТОК. ЦЕНА: ГОЛОС ОТЦА.

Он стоял и смотрел на эту надпись, и на чёрном полу, у его ног, лежал пропуск с косой чёрточкой.

И была ещё вторая надпись — короткая, без объяснений:

ВЫБРАН: ТОТ, КТО ВСТУПАЕТСЯ БЕЗ СИЛЫ.

Он прочитал это и не понял. Он подумал: при чём тут это. Он подумал про Сотникова, про Пеструхина, про четыре удара и про потолок школьного коридора. Он подумал, что за это не дают ни силы, ни Дао, — за это дают пять дней и сину в синяках.

Он не понял тогда, что это и есть условие. Он поймёт позже — когда впервые пройдёт мимо того, кого бьют.

Он знал, что такое этот пропуск. Он знал, что если взять — пропуск останется лежать, но то, что за ним, уйдёт: утренний голос, который говорил «вставай, охотник», и как этот голос называл его по утрам, и как он смеялся, когда мать звала их со двора.

Он был здесь, в чёрном месте, в четырёх минутах от смерти.

Он сказал: «Бери».

И пропуск с косой чёрточкой погас.

Не исчез: он остался лежать на чёрном полу, но стал серым, как отпечаток на стекле. А рядом, там, где было пусто, встало новое — тонкая белая линия, идущая от его ног к стволам, и по ней пошли буквы, короткие, без чувства:

СЧЁТ. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВЗЯТО. ГОЛОС ОТЦА — ИЗЪЯТ. ЗАПИСЬ СОХРАНЕНА. СЛЕДУЮЩИЙ ХОД — ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МИНУТ.

Он прочитал это и не почувствовал горя. Он вообще ничего не почувствовал: ни страха, ни жалости к себе, ни радости, что будет жить. Только холодное, ровное понимание: сделка состоялась, и он теперь может видеть.

Тогда он впервые испугался — не смерти, а того, что не боится.

А потом надпись сменилась.

ДОСТУПНО ТАКЖЕ: РЫВОК. УБИЙЦА. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЦЕНА: ЛИЦО МАТЕРИ. ДОСТУПНО ТАКЖЕ: КАМЕННАЯ КОЖА. ТАНК. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЦЕНА: ПЕРВЫЙ КЛАСС, ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. ДОСТУПНО ТАКЖЕ: ИСКРА. МАГ. ОГОНЬ. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЦЕНА: ЛЕТО, КОГДА БЫЛО ВОСЕМЬ. ВЫБОР ОГРАНИЧЕН: ОДИН ХОД — ОДНА ЦЕНА. ПИЩА: ПАМЯТЬ.

Он спросил — не голосом, а мыслью:

— А если я не хочу платить этим?

Надпись не изменилась.

Он спросил ещё раз, и ещё, и в третий раз надпись стала серой, как будто её выключили. Тогда он подумал, что другого способа нет. Он ошибался, но узнал об этом только через два месяца.

Он смотрел на эти строки долго.

Он мог стать кем угодно. Танком, убийцей, магом — всем сразу, если хватит того, чем он платит. И он понял, что это не сила. Это магазин, в котором вместо денег — люди.

Он сказал:

— Хватит.

Надпись погасла, и он пришёл в себя от того, что его тошнило.

Склон стоял. Он лежал между корней, прижатый, но живой, и над ним была щель, и в щели было серое утро.

Он начал выбирать.

Это заняло сорок минут. Он не чувствовал ни страха, ни злобы: он видел, как лежит земля, где она держит, где её можно разобрать, и разбирал — медленно, по горсти, как разбирают стену. Руки были содраны до мяса. Он не замечал.

Когда его вытащили, первым наверху его встретил Айсен.

Он не помогал и не суеился: он сидел на камне с блокнотом и, когда Арсения вытащили, задал вопрос — ровно, как читают по бумаге.

— Ты два часа под землёй. Что видел?

— Землю.

— Что чувствовал?

— Ничего.

— Это невозможно, — сказал Айсен. — Два часа под завалом человек либо кричит, либо спит, либо молится. Запиши мне, что ты делал.

— Считал.

Айсен поднял голову.

— Что считал?

— Сколько во мне осталось, — сказал Арсений. — И сколько до темноты.

— Это не по-человечески, — сказал Айсен.

— Это по-нашему, — сказал Прохоров, подходя. — Пиши: считал.

Айсен записал. Потом посмотрел на Арсения ещё раз и написал ещё одну строку, и Арсений, сидя на камне, видел только одно слово: «откл.».

Что это значит, он узнал через месяц.

Тимур сел рядом и долго молчал, а потом спросил:

— Ты чего там видел?

— Землю.

— Врёшь.

— Вру, — согласился Арсений.

— Скажешь?

— Не сейчас.

— Ладно, — сказал Тимур. — Я не обижаюсь: у меня у самого есть, о чём я не говорю. Только ты вот что запомни: если ты когда-нибудь захочешь сказать — скажи мне первому, а не Мазуру.

— Почему не Мазуру?

— Потому что он запишет, — сказал Тимур. — А я — просто послушаю.

А наверху стояли вчетвером и смотрели на него так, как смотрят на поднятого из воды.

— Четвёртый, — сказал Прохоров.

— Я.

— Два часа под землёй, — сказал Прохоров. — Мы тебя похоронили. Мы уже бумагу написали, я её в кармане ношу.

Он достал лист и порвал.

— Иди в машину.

Арсений не пошёл.

Он стоял и смотрел на них: на Прохорова, на Тимура, на Гришу с забинтованной рукой, на Айсена, который держал рацию.

Он видел их. Не лица — числа. Прохорову было сорок семь лет; у него было большое сердце и резервуар маны, полный на треть. У Тимура — восемьдесят процентов, и в левой руке, под кожей, шла тонкая, как волос, трещина. У Гриши мана текла плохо: рука не пускала. У Айсена было пусто, и Айсен был не пробуждён, и это тоже было видно: у него не было числа.

— Ты чего? — спросил Тимур.

— Ничего, — сказал Арсений. — У Прохорова мало маны. У тебя восемьдесят, у него тридцать. Надо выходить.

Прохоров очень медленно посмотрел на него.

— Как ты сказал?

— Я вижу, — сказал Арсений. — У всех. И у навьи видел: у неё под левой рукой сухо.

Никто не сказал ни слова.

Потом Прохоров сказал:

— В машину. Быстро.

* * *

В лагере его ждали.

Прохоров поставил его перед теми, кто вернулся с кладбища. Тимур и Гриша смотрели на него, как на человека, который пришёл оттуда, откуда не возвращаются; Айсен стоял сбоку с блокнотом.

— Говори, — сказал Прохоров.

— Что говорить?

— Всё.

И он сказал.

Он рассказал про чёрное место, про семь стволов, про вещи на полу и про надпись. Он не рассказывал только про цену: про голос отца он сказал так: «Забыл кое-что. Ничего важного».

Тимур поверил.

Гриша поверил.

Айсен стоял сбоку и писал в блокнот, и Арсений видел, как он пишет: ровно, коротко, не поднимая головы.

А Прохоров не поверил.

— Стволы, — сказал он. — Семь.

— Семь.

— И ты можешь взять любое.

— Могу.

— И платишь памятью.

— Да.

Прохоров молчал долго, и в темноте было слышно, как у него свистит дыхание.

— Знаешь, что это такое? — сказал он наконец. — Подарков тут нет: это счёт в лавке, где берут не деньгами. Я тебе так скажу, Четвёртый: я двадцать лет хожу в подвалы и видел трёх таких, как ты. Один сошёл с ума на второй год, второй стал считать людей, как граммы, третий ушёл за шов, и его больше не видели. Хочешь знать, что у них было общего?

— Что?

— Они все были одни, — сказал Прохоров. — У них никого не было, и они себя не помнили, потому что некому было помнить за них. Вот почему я тебя не выгоню, хотя должен. У тебя брат.

Он шагнул ближе.

— Тетрадь ведёшь?

— Веду.

— Пиши не дела, — сказал Прохоров. — Пиши себя: что любишь, чего боишься, кого жалко. Утром читай вслух. Как молитву.

— Я вслух читать не люблю, — сказал Тимур.

Прохоров посмотрел на него.

— Тогда пусть он тебе читает, — сказал он. — А ты слушай. И если ты однажды услышишь, что он читает про тебя в прошедшем времени, — приходи ко мне.

— А что будет?

— Ничего, — сказал Прохоров. — Я его ударю. Чтобы очнулся.

Гриша спросил тихо:

— А зачем читать вслух? Я бы молча.

— Потому что молча оно врёт, — сказал Прохоров. — Молча оно говорит тебе: «ты в порядке, ты справишься». А вслух ты слышишь свой голос и понимаешь, что уже три дня ничего не чувствуешь.

Он помолчал и добавил:

— Так что вот тебе, Четвёртый, второе правило. Первое — не ходить в гнездо. Второе — читать вслух.

— И запомни главное, — сказал он. — Когда перестанешь бояться за брата и перестанешь считать это потерей — приходи ко мне сразу. Не жди, пока тебе станет всё равно, выйдет он или нет.

Он отвернулся.

— Всё. Иди.

Ночью он снял рубаху и посмотрел в зеркало.

Чёрточка под левой лопаткой выросла и стала длиннее — теперь она была с палец, и от неё вниз шёл едва заметный след, как будто кто-то начал рисовать и отложил карандаш.

Он сел и записал в тетрадь — печатными буквами, чтобы точно прочитаты:

«Я умер. Потом был в чёрном месте. Там семь стволов и мои вещи.

Я взял Счёт. Цена — голос отца.

Я не помню его голос. Я помню, что он был. Помню, что он говорил „вставай, охотник“, но не помню, как.

На спине — чёрточка и след.

Я больше ничего не боюсь. Это не храбрость. Я проверял: я думал про смерть, и внутри было ровно. Надо это записать и проверить через месяц — вдруг пройдёт.

И ещё: там было написано „ход первый“. Значит, будет второй».

Глава 4. Считать и прятать

В лагере вывесили доску.

Она стояла у столовой, под навесом, и на ней каждый день менялись цифры: отряды, выходы, потери, доля. Арсений первый раз подошёл к ней вечером и прочитал сверху вниз, потому что сверху вниз было принято читать.

Сверху стоял «Столб-1». Четыре выхода, ноль потерь, четыре закрытых очага, личный рейтинг командира — третий в крае.

Внизу, последней строкой, за чертой, стоял тринадцатый сводный. За март — один зачтённый выход. Три потери. Один закрытый объект. Доля — ноль.

— Не смотри, — сказал Тимур. — У нас всё равно ноль.

— Почему ноль?

— Потому что объект закрыли линейные, — сказал Тимур. — А мы — расход. Расходу доля не положена. Пошли, а то остынет.

За соседним столом сидели из второго линейного — те, кого брали на Б.

Их старший, парень лет семнадцати, с нашивкой Б и с новыми ботинками, посмотрел на Тимура и сказал:

— Тринадцатый. Вы жедохлые.

— Дохлые, — согласился Тимур.

— У вас за март один выход и три потери.

— Один и три, — согласился Тимур.

— Чего соглашаешься?

— А чего спорить? — сказал Тимур. — Ты прав. Ты Б, ты на объектах, у тебя ботинки. Только вот что, брат: вы в коллекторе стояли на свету, а мы стояли в слепом участке. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что слепой участок — он не для тех, кто умеет. Он для тех, кого не жалко. Вот мы и есть те, кого не жалко. Ешь давай.

Парень открыл рот, чтобы ответить, и не нашёл слов. Он отвернулся, и его стол засмеялся — не над Тимуром, а над ним.

Тимур ел спокойно, как едят люди, которые давно всё решили.

В столовой, за столом на шесть, сидел Кожин.

Он вернулся из госпиталя третьего дня: одна рука, второй рукав подколот, и в нём ничего. Он держал ложку правой и ел медленно, аккуратно, как едят люди, которые заново учатся.

— Витя, — сказал Арсений.

— Двадцать два, — сказал Кожин.

— Что двадцать два?

— До столовой, — сказал Кожин. — Я считаю. Не мешай.

Он доел, встал и пошёл к выходу, и на ходу считал — тихо, себе под нос: раз, два, три, четыре. У двери сбился, остановился, начал снова.

Тимур смотрел ему вслед.

— Он теперь всегда так, — сказал он. — Врач говорил: это не рука. Это голова: он в той трубе что-то потерял. Ты знал, что он считал, чтобы не потеряться?

— Знал.

— Вот и потерялся, — сказал Тимур. — Только считает. Ирония.

Он взял ложку и стал есть, и Арсений смотрел на его руки — целые руки, на восемьдесят процентов маны, с трещиной в левой, — и думал, что Тимур прав, и что ирония здесь ни при чём.

* * *

Про Дао он думал каждый день, и каждый день оно было с ним.

Оно не разговаривало. Оно показывало: у людей вокруг шёл свет — тонкий, как пар, и у каждого свой. У Тимура он был синий и ровный, у Гриши — жёлтый и рваный, у Айсена не было вовсе. У навьей в подвале он был серый, и там, где он не шёл, было сухое место.

Иногда, вечером, когда все спали, Дао открывалось шире: он видел за стенами казармы, за забором, за лесом — тонкие линии, которые тянулись к городу, и по ним шли числа. Он не понимал чисел, но понимал, что это счёт: где-то считали людей.

На четвертую ночь надпись пришла сама.

ХОД ВТОРОЙ. ДОСТУПНО: СЧЁТ. УРОВЕНЬ ВТОРОЙ. ВИДЕТЬ МАНУ СКВОЗЬ СТЕНУ. ЧУВСТВОВАТЬ ЧУЖОЙ ХОД. ЦЕНА: ИМЯ СОСЕДКИ ТЁТИ ВАЛИ.

Он сел на койке.

Тётя Валя была соседкой, которая в семьдесят шестом, после пожара в школе, вывела их с Мироном через двор и потом два месяца носила им суп в банке из-под сгущёнки. Он помнил её лицо, её платок, её руки, запах её кухни.

Он помнил, что её называли и «тётя Валя», и «Валентина», и знал: это одно имя. До этой ночи оно было связано с её голосом, супом в банке и руками, пахнувшими луком.

Он подумал: имя — это мелочь. Лицо важнее. Лицо он не отдаст.

Он сказал: «Бери».

И понял, что взял.

Он не почувствовал ничего: просто внутри стало на одно пустое место больше, и он больше не знал, как её звали. Он помнил, что она была, помнил суп и платок — а имя ушло, и на его месте была ровная, аккуратная пустота.

Утром он вышел к построению и увидел всех.

Он видел ману, как видят воду в стекле: у каждого своё, у каждого на своём месте. У Прохорова — треть резервуара, и в левой стороне груди что-то серое, глухое, старое. У Айсена — ничего. А в столовой, за стеной, шёл свет, и там был человек, у которого мана стояла так плотно, что он видел её через кирпич.

Он посмотрел на табло и понял, кто это: приехала проверка из управления, и вместе с ней — Ярцев.

* * *

Тогда он и начал прятать.

Он не знал, как это делается. Мастера, говорил Прохоров, умеют; как — никто не расскажет, потому что это их хлеб.

Он пробовал по-разному.

Сначала он сжимал ману внутрь: получалось плохо — мана шла из тела в тело и не слушалась. Потом попробовал выдохнуть её, как выдыхают воздух: стало пусто, и через минуту его вырвало.

Потом он заметил: когда он считает, всё в нём становится ровным. Счёт не мешает прятаться — счёт и есть прятание. Он стоял на построении, смотрел на доску и считал: двенадцать досок, сорок два гвоздя, четыре отряда, семьдесят шесть человек. И в эти секунды его мана не шла наружу: она уходила в счёт, как вода уходит в песок.

Он стоял и считал, и над ним прошёл Ярцев — тот самый, с плотной аурой, который шёл через строй и смотрел на людей, как смотрят на инструмент.

Ярцев остановился.

Он посмотрел на Арсения долго — секунды три, — и ничего не сказал. И пошёл дальше.

Айсен, стоявший в шаге, поднял блокнот и что-то записал. Потом ещё раз.

Арсений не стал смотреть, что он пишет. Он уже знал, что напишет: «четвёртый, аура не читается, поведение отклонений не имеет».

Он подошёл к доске и стал читать графу «проверки».

Там было написано: «13-й сводный. Четвёртый. Карта: класс — не определён; отметка — „взятие чужого“ первой степени. Аура — не читается. Поведение — отклонений нет».

Он читал это и понимал, что все эти слова — про него, и что от них никуда не денешься: в Лиге его теперь знают не как ашку с прочерком, а как «взятие чужого».

— Ну что, — сказал Тимур, подходя. — Прочитал про себя?

— Прочитал.

— И как оно?

— Как справка, — сказал Арсений. — Как справка о том, что я живой.

— Ты не живой, — сказал Тимур. — Ты интересный. Разница есть.

Он хлопнул его по плечу и пошёл в казарму, а Арсений ещё стоял и смотрел на графу, в которой было написано: «Требуется проверка».

Он ошибался. Айсен написал другое.

«Четвёртый, аура не читается, во время контакта с Г-2 не читалась вообще: исчезновение манного следа длительностью четыре секунды. Требуется проверка».

* * *

Через два дня дали очаг.

Он был малый, класса А, в старом водостоке под рынком: три сотни метров трубы, шесть выходов, вода по колено.

Внутрь пошли пятеро: Прохоров, Арсений, Тимур, Гриша с новой рукой и молодой линейный по фамилии Дудник, который шёл с ними впервые и всю дорогу шутил. Мазур страховал выход у верхнего отвода.

Внутри было тихо.

Слишком тихо: в очагах всегда есть звук — капель, шорох, гул. Здесь не было ничего, и Арсений считал и не находил ни одной навьи.

— Тихо, — сказал Дудник. — Может, пусто?

— Не бывает пусто, — сказал Тимур.

— Бывает, — сказал Дудник. — Два раза был, и оба раза пусто.

Арсений смотрел на трубу, и Дао показывало ему то, чего он не хотел видеть.

Метрах в сорока, за поворотом, где труба уходила вниз и наполнялась водой, стояло живое: тёплое, большое, с маной, которая шла не как у навьих — не серой, а белой, ровной, как у человека.

Он посмотрел внимательнее.

Оно было похоже на человека. Оно стояло в воде по грудь, спиной, и держало в руке что-то длинное — нить.

Он не знал, что это. Он видел, что это живое. Он видел, что оно сильнее их всех вместе.

И он промолчал.

Он сказал себе: если сказать, Тимур полезет вперёд, а Тимур не умеет не лезть. Если сказать, Гриша возьмёт баллон, а баллон после коллектора Гриша боится. Если сказать, Дудник побежит, и его догонят.

Он сказал себе: я спрячусь, а они пройдут.

Они прошли.

На обратном пути, когда до выхода оставалось двадцать метров, из воды поднялась рука.

Не навья. Человек.

Он взял Дудника за ногу и утянул его так быстро, что никто не успел ни крикнуть, ни выстрелить. Вода в трубе качнулась, и всё.

Внизу, в чёрной воде, было тихо, и Дао показывало ровную белую ману, которая уходила вниз по трубе, вместе с Дудником, в сторону.

Прохоров поднял их наверх.

Он не сказал ничего. Он сидел на бетоне, смотрел в воду и курил, и на его руках была кровь — не своя.

А потом он встал и посмотрел на Арсения.

— Ты знал, — сказал он.

Арсений молчал.

— Ты знал, — сказал Прохоров. — Ты видел его. Я по лицу видел, что ты видел. Скажи мне, что ты не знал, и я тебе поверю, потому что мне надо тебе верить.

— Не могу, — сказал Арсений.

Прохоров ударил его.

Он ударил его один раз, в лицо, тяжело, левой — той, что была из серой вязи, — и Арсений упал на бетон и не почувствовал боли.

— Почему? — спросил Прохоров.

— Я прятался, — сказал Арсений. — Если бы я взял, вы бы увидели. Тогда пришёл бы человек из управления, и меня забрали бы в институт. Я испугался не за себя. Я испугался, что заберут и не дадут видеть Мирона.

Прохоров смотрел на него долго.

Потом он сказал — тихо, без злобы:

— Запомни это, Четвёртый. Ты сегодня спрятался, и человек умер. Это останется с тобой, и я не знаю, что хуже: то, что ты спрятался, или то, что ты об этом не жалеешь.

Тимур ждал его у машины.

Он посмотрел на кровь на лице Арсения и не сказал ничего — ни «ты что», ни «он не прав». Он достал из кармана платок, смочил его снегом и вытер Арсению лицо, как вытирают детям.

— Он тебя не за Дудника, — сказал Тимур.

— А за что?

— За то, что ты теперь такой же, как он, — сказал Тимур. — Сегодня видел человека в трубе и промолчал. Он тоже когда-то видел и промолчал. Он тебя ударил за то, что ты быстро вырос, а он двадцать лет этому учился.

Он убрал платок.

— Только ты вот что. Я не знаю, что там у тебя в голове и что за место, где тебе всё продают. Мне всё равно. Ты мне жизнь вытащил, я тебе должен. Так что слушай: если тебе надо будет взять у меня ещё раз — бери. Только скажи после. Не потому, что я разрешаю, а потому, что я хочу знать, чего у меня больше нет.

— Скажу, — сказал Арсений.

— Ага, — сказал Тимур. — Все говорят.

Гриша стоял в стороне, у борта, и смотрел в воду — на ту воду, из которой никто не вытащил Дудника. Арсений подошёл к нему.

— Гриша.

— Он меня спас в тот раз, — сказал Гриша, не оборачиваясь. — В подвале. Я держал баллон, у меня рука... ты помнишь, я сел и плакал. Он поднял меня и сказал: «Иди, я подержу». Он был линейный, ему за это платят.

— Ему семнадцать, — сказал Арсений.

— Я знаю, — сказал Гриша. — У меня брат такой. Ему тоже семнадцать.

Он повернулся.

— Прохоров тебя ударил. Я видел. — Он посмотрел Арсению в лицо долго. — Ты не виноват. Ты был прав, что молчал. Но я тебе этого не прощу, и ты это запиши.

Он пошёл к машине.

— И вот ещё, — сказал он. — Айсен написал про тебя бумагу. В бумаге стоит «требуется проверка». Значит, тебя будут проверять. Значит, тебе надо научиться прятаться по-настоящему, а не на четыре секунды. Учись, пока они не приехали.

Вечером в казарме Мазур разложил на столе бумаги.

— Итог, — сказал он. — Потери: один. Второй линейный, семнадцать лет. В бумаге будет «потери не установлены».

— Почему не установлены? — спросил Гриша. — Он был с нами. Мы видели.

— Потому что тела не нашли, — сказал Мазур. — А без тела — значит, не установлено. Злобы тут нет: это правило: у нас двести сорок человек в год уходит без тела.

— И что с ним будет?

— Ничего, — сказал Мазур. — Через год его мать получит выплату по «потере». Двенадцать тысяч. Прощения за это не предусмотрено.

Гриша встал и вышел.

— Не ходи за ним, — сказал Мазур.

— Ему надо, чтобы кто-то сказал, что мы не виноваты, — сказал Тимур.

— Мы виноваты, — сказал Мазур. — Мы влезли в чужой очаг за долей. Он умер за то, что мы хотели восемнадцать тысяч на шестерых.

— Тогда зачем ты считаешь?

— Затем, чтобы это не забылось, — сказал Мазур. — Если я перестану считать, у нас не останется ни одного человека, который знает цену.

* * *

Кожин нашёл его вечером, у столовой.

Он подошёл, сел рядом на скамейку — так, чтобы рукав был ближе к телу, — и сказал:

— Ты записываешь.

— Записываю.

— Про меня записал?

— Записал. Что ты считаешь и что тебе забрали руку.

— Не то, — сказал Кожин. — Ты запиши главное. Я тебе скажу, а ты запиши, и пусть это будет в тетради, потому что тетрадь у тебя останется, а я нет.

— Ты есть.

— Я считаю, чтобы не потеряться, — сказал Кожин. — А я уже потерялся. Я сам себя не нахожу. Так что запиши: Кожин Витя, шестнадцать лет, считал шаги, любил синт-пельмени и хотел в девятый отряд, к Ярцеву. Мать — в Норильске, улица Мира, двадцать два. Говорить не надо: она не поверит.

Он замолчал.

— Ты понял? Не «боец», не «рядовой». Так, как я сказал.

— Понял, — сказал Арсений.

На следующий день его вызвали в управление — на аттестацию.

За столом сидел офицер с планшетом и задавал вопросы по списку.

— Отметка «взятие чужого» первой степени. Кого брал?

— Тимура Асланова, — сказал Арсений. — Дважды. С его разрешения.

— Разрешение оформлено?

— Нет.

— Значит, не оформлено. — Офицер записал. — Второе: ты видел ману сквозь стену водостока. Класс?

— Не знаю.

— Не знаешь или не скажешь?

— Не знаю, — сказал Арсений. — Я не понимаю, что делаю. Я понимаю только, что это работает.

Офицер посмотрел на него.

— Так не бывает, — сказал он. — Если работает — значит, есть правило. Найди правило и напиши. Иначе спишем как ненадёжного.

— Хорошо, — сказал Арсений.

— И вот что, — сказал офицер. — В институте есть отдел. Они собирают таких, как ты. Если позовут — иди: там кормят и там не стреляют в спину.

— А если не пойду?

— Тогда позовут вторично, — сказал офицер. — С бумагой.

Ночью он сидел в ванной, при свете одной лампы, и писал.

«11 марта. Взял второй ход: счёт сквозь стену. Цена — имя соседки, тёти Вали. Я не помню имени. Лицо помню.

В водостоке был человек. Я спрятался. Дудника утащили в воду, ему семнадцать.

Прохоров ударил. Больно не было. Я записал и проверил: больно не было.

Я заметил: когда считаю — прячусь. Значит, надо считать всегда. Днём и ночью, на построении, в машине, перед сном. Мне нельзя останавливаться.

И ещё: я не жалею. Это надо записать, потому что тогда будет с чем сравнить. Ты, который это читаешь, — не жалеет и ты».

Глава 5. Серый рынок

Серый рынок был не рынок, а коридор.

Он шёл под старым универмагом, в бывших складах: двадцать метров, двенадцать дверей, и в каждой двери сидели свои. Здесь покупали и продавали то, что не проходило по бумагам: ядра из очагов, нити из Служек, протезы, чужие документы, чужие нашивки.

Арсения взял с собой Мазур.

Мазур был из их отряда, но не из линейных: он ходил с тринадцатым как носильщик, потому что у него не читалась аура и не было ни одной способности, зато была нога из серой вязи и память, как у бухгалтера. Лет ему было пятнадцать, и он был единственный в отряде, кто умел считать деньги.

— Правила, — сказал он на входе. — Первое: не смотри никому в глаза. Второе: не говори, что ты из Лиги. Третье: если спросят про ауру — говори «пусто», и всё.

— У меня правда пусто.

— Вот и молодец, — сказал Мазур. — Врать не надо.

* * *

В третьей двери продавали протезы.

Там стоял стол, а на столе — руки и ноги из серой вязи: лёгкие, как настоящие, и тяжёлые, как чугун, и между ними разница была в цене в десять раз.

У стола стоял мужик в ватнике и держал в руках руку.

— Эта сколько? — спрашивал он.

— Двенадцать.

— А эта?

— Восемь. Она не гнётся в двух пальцах. Писать не сможет, держать сможет.

Мужик думал долго. Потом сказал:

— Давайте за восемь. Ему четырнадцать, писать он может левой.

Арсений смотрел на него и понимал: это отец. И он покупает сыну руку за восемь, потому что за двенадцать у него нет, и он будет всю жизнь помнить эти четыре тысячи.

— Мазур, — сказал он тихо. — А почему у Тимура нет?

— Руку-то ему заменять незачем, — сказал Мазур. Двух пальцев нет с детства, с завода; к Лиге это не относится.

В четвёртой двери сидел мальчик лет тринадцати и продавал ядро.

Ядро было хорошее, крупное, с жилкой. Арсений видел, что оно не его: мана в нём была чужая и старая, и мальчик держал его так, как держат чужую вещь, за которую придётся отвечать.

— Сколько?

— Триста, — сказал мальчик.

— Оно не твоё.

Мальчик посмотрел на него и заплакал — сразу, без подготовки, как плачут дети, которых поймали.

— Оно отца, — сказал он. — Он в Ачинске был. Он не вернулся, а ядро в куртке осталось. Мать болеет.

Арсений стоял и не знал, что сказать.

Мазур взял его за локоть и увёл.

— Тут так все живут, — сказал он. — Не лезь. Лезут только те, у кого денег нет.

Барсук сидел в шестой двери.

Он был огромный, в жилете, сшитом из серых полос, и перед ним на столе лежали ядра: чёрные, как мокрый уголь, разные по размеру, и он их взвешивал на ладони, как взвешивают яйца.

— Ашка, — сказал он, не поднимая глаз. — Чего пришёл?

— Нить посмотреть.

— Нить — не для ашек. Нить — это для тех, у кого мана есть.

— У меня есть.

Барсук поднял голову.

Он смотрел на Арсения секунды три, и Арсений видел, как в нём идёт мана: тяжёлая, плотная, как масло, и вся на месте, ни капли наружу. В Лиге говорили, что Барсук был В, потом его списали за то, что он продал чужое ядро, и он ушёл на рынок.

— Покажи.

Арсений показал: он сжал ману, как учился, и она не пошла наружу, а ушла в счёт — в ровное, тёплое число под грудиной.

Барсук крикнул.

— Держишь, — сказал он. — Хреново держишь, но держишь. Кто учил?

— Никто.

— Врёшь.

— Никто, — сказал Арсений. — Я сам.

Барсук посмотрел на Мазура, потом опять на него.

— Ладно, — сказал он. — Нить — четыреста за метр. Восемь метров — три двести. На ашку — как раз, чтобы сдохнуть красиво.

— У меня нет трёх двести.

— А сколько есть?

— Двести.

Барсук засмеялся — коротко, без злобы, как лает собака.

— Слушай сюда, малой, — сказал он. — Я тебе дам нить. Не за деньги. За ядро.

— Какое?

— Нормальное, — сказал Барсук. — Служка, класса Б и выше. Принесёшь — получишь нить и ещё двести сверху. Не принесёшь — отдам тебя линейным, и они с тобой разберутся, потому что ты сейчас торгуешь на сером рынке без разрешения, а это, между нами, статья.

Мазур толкнул Арсения в бок.

— Не бери, — сказал он. — Ядра с Б — это не подвал. Это смерть.

— Я возьму, — сказал Арсений.

— Слышал? — сказал Барсук. — Он возьмёт. Вот и договорились.

Он выложил на стол серую верёвку — тонкую, блестящую, как мокрый шёлк.

— Держи аванс, — сказал он. — И вот что, малой. Про ауру. Ты её не прячь.

— Почему?

— Потому что спрятать нельзя, — сказал Барсук. — Её видно. Всегда. Мастера её не прячут — они делают её скучной. Понимаешь? Скучной. В ауре ашки смотреть нечего: неровная, слабая, как у всех. Ты и так скучный, тебе повезло. Только когда ты берёшь — ты перестаёшь быть скучным, и вот этого не делай.

Он подался вперёд.

— Никогда не бери, когда на тебя смотрят. И если взял — падай. Падай, хватайся за живот, ори, что тебе плохо. Пусть думают, что ашка перепугался. Это лучший способ: не прятаться, а быть тем, кем тебя и так считают.

— Спасибо, — сказал Арсений.

— Не благодари, — сказал Барсук. — Я не добрый. Мне нужны ядра.

* * *

— Барсук, — сказал Арсений, когда уже стоял у двери. — Почему вы тут?

Барсук поднял голову, и в его лице впервые что-то шевельнулось.

— Потому что меня списали, — сказал он.

— За что?

— За ядро. — Он усмехнулся. — Я в семьдесят шестом принёс с объекта ядро и не сдал. Продал. Мне нужны были деньги: у меня сын родился с сердцем, и врач сказал: двадцать тысяч, или он не доживёт до года. Я принёс ядро и продал за двадцать две. Он жив. Ему пять лет, он бегают.

— И вас списали.

— Меня списали, — сказал Барсук. — Но я, между нами, не жалею. Списали — значит, я не в строю, а в строю ты — расход. Вот ты, ашка. У тебя в контракте двенадцать тысяч, а сколько стоит твоя жизнь?

— Не знаю.

— Восемьдесят, — сказал Барсук. — Восемьдесят тысяч — такса Лиги за охотника ранга А. За Б — сто пятьдесят, за В — триста. Мне за ядро дали двадцать две и написали «хищение». Тебя за восемьдесят и напишут «потеря». Разница только в слове.

Он помолчал.

— Так что ты иди. Только вот что, малой: в Разлом не ходи.

— Мне приказано.

— Прикажут — значит, сдохнешь, — сказал Барсук. — В Разломе внизу стена. Я её видел в семьдесят девятом, я там был во второй линии. На стене восемь чёрточек. Считал?

Арсений замер.

— Восемь, — сказал он.

— Восемь, — сказал Барсук. — И знаешь, что говорят? Что восьмой знак — это не знак. Что там имя. Только его никто не может прочитать, потому что тот, кто прочитал, остаётся внизу.

Он откинулся на стуле.

— Всё. Иди, у меня покупатели.

В конце коридора была дверь с фанеркой, на которой было написано «Обувь. Срочный ремонт».

Там сидел старик.

Его звали Йонас, он был серый — не пробуждённый, из тех, кто прошёл шов и вернулся не таким, — и у него было два голоса. Он говорил одним, а вторым смеялся, и с этим вторым давно уже никто не мог ничего сделать.

— Садись, — сказал Йонас. — Нога не болит? Не болит. Садись.

Арсений сел.

Старик взял его ботинок, посмотрел на подошву, потом на него.

— Ты у Барсука был.

— Был.

— Нить взял.

— Взял.

— За ядро?

— За ядро.

Йонас засмеялся — вторым голосом, — и стал зашивать подошву, не поднимая головы.

— Слушай, — сказал он. — Я тебе скажу один раз, потому что мне скучно, а тебе жить. Аура — это не свечение. Аура — это то, как человек давит на воздух. Все думают, что она врёт: вот он злой, а аура у него спокойная. Врёт не аура. Врёт человек, который умеет её держать. Таких мало, это хорошие охотники, и от них надо уходить, а не драться.

— Уходить?

— Уходить, — сказал Йонас. — Второе. Мана — не твоя. Она в воздухе, и её можно взять, но она чужая. Поэтому, когда ты берёшь много, ты становишься не собой, а тем, из чего берёшь. Знаешь, почему у наших высоких сдают нервы?

— Почему?

— Они берут из очагов, — сказал Йонас. — Не из людей. Из того места. А оно не делится: оно или тебя съест, или ты его. Так что третье: из людей не бери.

Он завязал нитку и откусил конец.

— А если уже взял? — спросил Арсений.

— Тогда помни, у кого, — сказал Йонас. — И отдай, когда сможешь. Кровь не возвращают, а ману — можно. Это, между нами, единственное, что можно вернуть.

Он протянул ему ботинок.

— Двадцать рублей.

— Можно потом?

— Тогда отдашь, — сказал Йонас. — Я не Барсук, я подожду. И вот что ещё, мальчик: у тебя на спине что-то есть.

Арсений замер.

— Я не смотрел, — сказал старик. — Мне не надо. Я по походке вижу: ты стал ходить иначе. Так ходят те, у кого внутри что-то растёт. Растёт?

— Растёт.

— Быстро?

— За месяц — на палец.

Йонас долго молчал. Потом сказал — тихо, своим голосом, без второго:

— Тогда ешь больше. И пиши.

— Пишу.

— Не то, — сказал Йонас. — Не дела. Пиши, кто ты. Потому что то, что растёт, ест не только память. Оно ест тебя. А кто ты — это не память. Кто ты — это то, что ты делаешь, когда никто не смотрит. Вот это и пиши.

* * *

На выходе его ждала женщина.

Она была в куртке, как все, и держала листовки. На листовке был нарисован люк и написано: «ОЧАГ? НЕ ГЕРОЙСТВУЙ. СОСЕДЕЙ ВЫВОДИ. ЗВОНИ».

— Мальчик, — сказала она. — Ты из Лиги?

— Из тринадцатого.

— Тринадцатый, — сказала она. — Это который ходит за линейными?

— Да.

— Сколько у вас в отряде?

— Четверо молодых и командир, — сказал Арсений. — Кожин теперь при госпитале, на выход его не берут.

Она посмотрела на него внимательно.

— Слышал про Ачинск? — спросила она.

— Слышал.

— Там было двести пятнадцать человек, — сказала женщина. — Очаг закрыли вместе с людьми. В сводке написали «вывезено двести пятнадцать». А вывезли одного. Я там была.

— Кто вы?

— Меня зовут Люба, — сказала она. — Мы записываем имена. Всех, кого в сводках пишут как «потери». Хочешь — записывай с нами. У тебя память хорошая, я вижу.

— Я забываю.

— Это ничего, — сказала Люба. — Ты записываешь. В этом всё и дело.

— Расскажите, — сказал Арсений. — Про Ачинск.

Люба оглянулась и села на ящик у стены.

— Там был дом, — сказала она. — Заводская, четырнадцать. Двести пятнадцать человек в трёх дворах. Очаг открылся в подвале, в ночь, и к утру весь квартал был в тумане. Линейные приехали на второй день, всё посчитали, поставили манжеты и уехали. Через неделю приехали снова — с бумагой. В бумаге было написано, что объект закрывают в течение двух суток, и что население будет вывезено.

— И вывезли?

— Одного, — сказала Люба. — Мальчика. Мы его потом нашли в интернате на Заводской, он не разговаривал год. Ему сказали, что он один выжил. А остальные двести четырнадцать тоже живы: они внутри, в тумане. Когда туман дойдёт до края города, их не станет.

— Почему их не вытащили?

— Потому что вытаскивать — дорого, — сказала Люба. — А закрыть вместе с людьми — бесплатно.

Она встала и отряхнула куртку.

— Мы собираем имена. В сводке пишут «двести пятнадцать человек, вывезено». Мы пишем имена тех двухсот четырнадцати, кто остался в очаге. У нас уже двадцать две тетради. Хочешь — приходи, дадим тетрадь, будешь записывать тех, кого знал.

— Я забываю людей.

— Значит, записывай раньше, чем забудешь, — сказала Люба. — Пока помнишь. Она дала ему листовку и ушла, и он стоял с листовкой в руке, и в груди внутри ровно шло число.

* * *

Вечером тринадцатый собрали в казарме.

Прохоров вошёл, не снимая куртки, и сказал:

— Разлом-14. Через две недели. Класс Г.

Тимур присвистнул.

— Это почему мы?

— Потому что линейных нет, — сказал Прохоров. — Потому что «Столб-1» идёт на главный участок, а нас ставят в тыл, и потому что у меня в бумагах написано, что тринадцатый — отряд, который не жалко.

Он посмотрел на них по очереди.

— Я там был, — сказал он. — В Разломе. В тот раз он открылся третьего мая и за девять дней вырос до четырёхсот метров. Тогда положили шестьдесят четыре человека. Я знаю, почему. Потому что все шли по плану, а план писал человек, который не был внизу.

Он положил на стол схему.

— Так что слушайте и запоминайте. Пойдём не по плану. Пойдём по-моему.

Он замолчал.

— И вот ещё, — сказал он. — Четвёртый, останься.

Он подождал, пока выйдут, и закрыл дверь.

— Ты знаешь, что такое «тыл» в Разломе? — спросил он.

— Это где не главное.

— Это где мясо, — сказал Прохоров. — Главный участок закроют, а тыл сложится. Всегда так. Я был там в семьдесят девятом: главный закрыли за шесть часов, а в тылу положили сорок. Потому что в тыл ставят тех, кого не жалко.

Он сел.

— Я тебе говорю это не для страха. Я говорю, потому что ты будешь держать не себя, а их: Тимура, Гришу, Мазура. Ты думаешь, ты ашка с прочерком и тебе нечего решать? Ты уже решаешь: из вас четверых только ты видишь сквозь стены.

Он помолчал.

— И вот что. Внизу, на последнем ярусе, есть стена. На ней восемь чёрточек. Я их видел. Такие же, как у тебя в отцовском списке.

— Восемь, — сказал Арсений.

— Восемь, — сказал Прохоров. — Твой отец в семьдесят шестом сказал одну вещь. Я её запомнил, потому что он был пьяный и злой. Он сказал: «Восемь — это не знаки. Это подпись. И подписывает не тот, кто внизу».

Он встал.

— Всё. Иди спать. Послезавтра начнём готовиться.

Глава 6. Разлом-14

Двадцать шестого марта Разлом было видно с дороги за два километра.

Он не был похож на дыру. Он был похож на шрам: земля разошлась на четыреста метров, края встали белым камнем, и из шрама шёл пар — тёплый, сладкий, с железом. Над ним дрожал воздух, и в этом дрожании, если долго смотреть, видно было движение: как будто внизу кто-то дышит.

Вокруг стояли машины, палатки, прожекторы и три линии манжет — бетонных колец, поставленных друг за другом.

— Готовность — час, — сказал в рации голос. — Первая линия — главный участок, «Столб-1». Вторая — правый борт, второй и седьмой линейные. Третья — тыл, сводные. Тыл держит выход.

— Тыл держит выход, — повторил Тимур. — Слышали? Мы выход.

— Молчи, — сказал Прохоров.

Он поставил их в стороне, у машины, и развернул на капоте не бумагу из управления, а свой блокнот.

— Так, — сказал он. — Слушаем моё. Плана два: их и мой. Их — вот он, — он показал на бумагу, — и в нём написано, что тыл стоит на месте, пока главный не закроется. В моём написано другое: тыл не стоит. Тыл идёт за главным, шагах в тридцати, и держит не выход, а людей.

— Это же приказ нарушить, — сказал Гриша.

— Да, — сказал Прохоров.

— И что будет?

— Мне — трибунал, — сказал Прохоров. — Тебе — ничего, потому что ты сдохнешь раньше. Так что выбирай: трибунал или смерть.

Он развернул блокнот.

— Кожин идёт с нами одним выходом, — сказал Прохоров. — Он не в отряде: он в списке как глаза. Я его выпросил у госпиталя на двое суток.

Он помолчал.

— Роли. Тимур — стена. Гриша — баллон, один, больше не дам, у тебя рука. Кожин — глаза, он в темноте видит. Мазур — тянет раненых. Четвёртый — считает и держится рядом со мной.

— Почему рядом с тобой? — спросил Тимур.

Прохоров посмотрел на Арсения.

— Потому что он видит, — сказал он. — А я не вижу.

— И запомните про Гонца, — сказал Прохоров. — Я его видел один раз.

Он сел на корточки и нарисовал на песке: длинный прямоугольник и ноги по краю.

— Гонец — не зверь. Это пласт: белое, шириной в сорок метров, и по краю у него ноги, короткие, как у сороконожки. Он не гонится: он занимает. Где он прошёл — там уже он. Спереди у него складка, это голова. От головы назад идёт жила, толщиной в руку, и вот она-то и есть его жизнь.

— А примета? — спросил Арсений.

— Пол греется, — сказал Прохоров. — И пыль встаёт: не падает, а стоит. Если увидишь, что пыль стоит, — значит, он уже близко, и ты уже опоздал.

* * *

Ночью, перед спуском, Кожин нашёл его у машины.

Он сел на колесо, поправил рукав — тот, подколотый, — и сказал:

— Я тебе вот что скажу. Я знаю, что от меня толку нет.

— Есть.

— Нет, — сказал Кожин. — У меня одна рука, и я не пробуждён: у меня маны нет, я в темноте вижу, потому что всю жизнь по подвалам, а не потому, что умею. Так что слушай: если что, я буду глазами. Ты считаешь, а я вижу. Понял?

— Понял.

— И вот ещё. — Кожин помолчал. — Если меня не будет, ты матери скажи. Я ей сам не напишу, я не умею писать. Норильск, улица Мира, двадцать два. Громко: она глухая.

— Скажу.

— Не «скажу», — сказал Кожин. — Запиши.

Арсений достал тетрадь и записал при нём.

Кожин посмотрел, кивнул и пошёл спать. Он спал, как спят люди, которым нечего бояться, потому что они уже всё решили.

Спуск начался в шесть утра.

Первые сто метров шли по камню, ровному, как пол, и камень был тёплый. Дальше началось то, что Арсений потом не мог описать: стены разошлись, и под ногами оказался не камень, а белое — плотное, как воск, с жилами, и в жилах шёл свет.

Ещё через сорок метров стена повернула и открылась.

Она была белая и ровная, как отшлифованная, и на ней, на высоте груди, шли чёрточки.

Восемь.

Пять прямых, три коротких, и последняя — длиннее остальных и чуть наклонённая вправо, как замах.

— Стой, — сказал Прохоров.

Они стояли и смотрели. Кожин перекрестился — быстро, как делают люди, которые не верят, но привыкли. Гриша тронул стену ладонью и отдернул руку.

— Тёплая, — сказал он.

— Не трогай, — сказал Прохоров. — Запоминай, Четвёртый.

— Запоминаю.

— Не глазами, — сказал Прохоров. — Ты их потом нарисуешь. Ты запомни, что ты сейчас чувствуешь. Потому что чувство не сотрёшь.

Арсений стоял и чувствовал, как в том месте, где стояло число, пошёл холод.

Он считал.

Двенадцать человек впереди, тридцать шагов до поворота, четыре метра до правой стены, одно — большое — справа внизу, одно — слева, и ещё одно, самое большое, прямо под ними, в глубине, там, где было тепло.

— Прохоров, — сказал он. — Под нами.

— Что под нами?
— Большое. Оно как дом.
Прохоров остановился и посмотрел вниз, на белый пол.
— Хватит, — сказал он в рацию. — Тылу отход. Там внизу — гнездо.
— Тыл, стоять, — ответила рация. Голос был чужой, не Прохоров. — Работаем по плану.
— Там гнездо! — сказал Прохоров. — Двенадцатый, ты меня слышишь?!
— Тыл, стоять, — повторила рация. — По плану.
И тогда впереди всё кончилось.

* * *

Это не было обвалом и не было взрывом. Пол впереди просто пошёл вверх — медленно, как поднимается тесто, — и вместе с ним поднялся свет, и из-под белого вышло то, что жило внизу.

Арсений никогда такого не видел и потом не мог толком объяснить, как это выглядит: не тварь, а место.

Белое, живое, шириной в сорок метров — как если бы стена решила встать и пойти. По нижнему краю шли ноги: короткие, частые, сотни, и они двигались не вразнобой, а волной, от края к середине, — из-за этого пласт не шагал, а тёк вперёд, ровно, как течёт поднятая вода.

Спереди белое собиралось в складку — голова, слепая, без глаз, и по этой складке шло мелкое дрожание. От складки назад, через всю тушу, тянулась одна жила, толщиной в руку, и там, где она шла, белое было суше и светлее.

Пол под ней грелся. Пыль впереди не падала: стояла столбом, как стоит пыль в комнате, где очень давно не открывали окон. Арсений понял: Прохоров был прав — они опоздали ещё до того, как увидели.

— Гонец, — сказал Прохоров. — Это Гонец. Бегом!
— Главный участок, ответьте, — сказал Прохоров в рацию.
— На связи.
— У нас внизу гнездо. Требую отмены и вывода тыла.
Рация молчала секунды три.
— Отмены не будет, — сказал голос. — Работайте по плану.
— По плану тут все умрут.
— Работайте по плану, — повторил голос, и в нём не было ни злобы, ни спешки: он читал бумагу.

Прохоров снял с плеча ремень и посмотрел на них.
— Слышали? — сказал он. — Теперь слушайте меня, а не их. Работаем по-моему: тыл не стоит, тыл идёт за главным и держит людей. Если кто-то спросит — это я нарушил приказ.

— А если нас за это? — спросил Гриша.
— Меня, — сказал Прохоров. — Тебя уже не будет, ты к тому времени или выйдешь, или нет.

Главный участок закрылся первым.

Арсений видел, как впереди, за поворотом, воздух стал плотным: там работал «Столб-1». Ярцев поставил щит на весь проход — не стену, как Тимур, а настоящую плиту, — и по ней пошли белые искры.

А потом рация сказала:

— Главный участок, отход по протоколу. Тыл прикрывает.

— Что? — сказал Прохоров.

— Главный участок, отход. Тыл прикрывает.

И «Столб-1» пошёл назад.

Арсений видел Ярцева близко: в двадцати шагах, под щитом, аккуратно, ровно, не торопясь. Ярцев посмотрел на них — на шестерых в тылу, — и что-то сказал своим.

Он не улыбнулся и не сказал тылу ни слова. Он просто пошёл, потому что у него был приказ, и приказ был важнее.

— Вот и всё, — сказал Гриша.

— Молчи, — сказал Прохоров.

Оно шло на них.

* * *

— Тимур! — крикнул Прохоров.

— Я не могу! — сказал вдруг Гриша. — Я не могу, я его боюсь, я боюсь!

— Гриша, — сказал Прохоров, и в его голосе не было ни злобы, ни жалости. — Ты держал баллон в коллекторе. Ты тогда остался. Держи и сейчас.

Гриша посмотрел на баллон, потом на белое, потом опять на баллон.

Потом поднял.

— Держу, — сказал он.

Стена встала: Тимур выставил руки, и воздух перед ним загустел, стал мутным, как слюда, — и в этой мути отразилось белое, искажённое, как в мокром стекле.

Оно ударило — не кулаком, а всей своей тяжестью, — и стена треснула по диагонали, но выдержала.

— Держи! — сказал Прохоров.

— Держу! — Тимур стоял, расставив ноги, и по лицу у него текло.

Стена держала двадцать секунд. По трещине пошёл второй разлом, и Арсений услышал, как Тимур считает — тихо, себе под нос: «десять... восемь... шесть». На «шесть» от стены отвалился угол, и белое влилось в щель.

— Ещё! — сказал Прохоров.

— Не могу! — крикнул Тимур. — Пусто!

Арсений увидел: у Тимура в груди осталось десять процентов, у Гриши двадцать, у Прохорова половина. А у Кожина — ничего: Кожин не был пробуждён, у Кожина не было маны вовсе.

— Гриша, баллон!

Гриша поднял баллон и пустил струю. Белое зашипело, и там, где проходила пыль, оно останавливалось — на секунду, на две. Потом пошло снова.

— Четвёртый, — сказал Прохоров. — Что видишь?

Арсений смотрел.

Он видел Гонца не как стену, а как тело: сотня ног, белые жилы, и одна жила — одна, толстая, — шла от головы к спине, и в ней было сухо.

— Жила, — сказал он. — От головы назад. Там сухо.

— Далеко?

— Тридцать метров.

— Тимур, — сказал Прохоров. — Держи.

— Я держу!

— Держи и не умирай, — сказал Прохоров. — Кожин, за мной!

Они пошли вдоль — Прохоров и Кожин, один с протезом, второй с одной рукой. Арсений видел, как они подошли к белой туше сбоку.

Прохоров ударил в жилу протезом — серой вязью, всей рукой от плеча. Жила не поддалась: она не была твёрдой, она была упругой, как натянутый канат, и удар ушёл в неё и вернулся назад, в плечо. Прохорова отбросило на два шага.

Он встал и ударил ещё. Потом ещё.

Каждый удар отдавался по всему пласту: белое дёргалось, ноги двигались быстрее, и пыль вокруг поднималась выше. Жила держала.

— Четвёртый! — крикнул он. — Мне надо больше! Ты умеешь?

Арсений понял, о чём он.

— Я возьму, — сказал он.

— У кого?

Он посмотрел на Тимура — тот держал стену и уже не мог ничего отдать.

На Гришу.

На Кожина.

Кожин стоял рядом с Прохоровым, в белой пыли, с одной рукой, и кричал что-то — Арсений не слышал что, потому что в ушах шумело.

Кожин был не пробуждён.

Он ничего не мог дать, кроме себя.

— У него ничего нет, — сказал Арсений.

— Значит, бери себя, — сказал Прохоров. — Слышишь? Бери себя!

И Арсений взял.

Он не знал, как это делается, и никогда не делал: он открыл Дао не наружу, а внутрь — туда, где стояли семь стволов и вещи на полу, — и сказал в чёрной комнате: «Бери меня».

Надпись пришла сразу.

ХОД ТРЕТИЙ. ВЗЯТО: СИЛА. РАНГ: ТАНК. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЦЕНА: ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО. СРОК: ДЕВЯТЬ МИНУТ.

Он не успел подумать, что такое «последнее лето». Стало горячо в спине, в том месте, где росли чёрточки, и он почувствовал силу — тяжёлую, глухую, такую, от которой ноги вырастают в пол.

— Хватит! — сказал он. — Я готов.

Он подошёл к жиле и ударил.

Он ударил не протезом и не ножом: он ударил кулаком, и от кулака по жиле пошла трещина, а потом жила лопнула — мокро, тяжело, — и из неё вышло белое, и оно не текло, а сыпалось, как сыплется сухой песок.

Гонец остановился.

Он не умер: он сел, как садится раненое животное, и белое пошло вниз, уходя в пол, в глубину. Пар повалил сильнее, и где-то далеко, наверху, кричали в рации.

Арсений успел увидеть, как вслед за Гонцом уходит серое — остаток души, тёплый, плотный, — и как оно растворяется в белом быстрее, чем он успел что-то сделать. Он не знал тогда, что с этим делать. Он узнал позже, и в тот день, когда узнал, вспомнил вот эту минуту: серое ушло вниз, а вместе с ним — лето.

— Отход! — сказал Прохоров. — Все на выход! Кожин, веди!

Кожин побежал первым.

Он бежал впереди, и Арсений видел его спину — узкую, в куртке, — и считал шаги вместе с ним: двадцать два, двадцать два, двадцать два. Обратно шли узкими проходами, обходя белые наплывы. На седьмой минуте Сила начала слабеть; к девятой, когда добрались до шлюза, от неё не осталось ничего.

На выходе был шлюз — узкий, с двумя дверями, и вторую дверь заклинило.

— Она не идёт! — крикнул Кожин.

— Тяни!

Он тянул. Он тянул одной рукой, упершись в стену, и дверь шла — медленно, по сантиметру, и за ней уже был свет и воздух.

— Все! — крикнул Прохоров. — Все прошли?

— Пятеро, — сказал Арсений. — Шестой — Кожин.

— Кожин, ты!

— Я держу, — сказал Кожин. — Я держу, идите.

Арсений обернулся.

Он увидел всё сразу, как это бывает в последние секунды: белое, идущее по коридору, Кожина у двери, его руку, его лицо — и число в его груди, где маны не было вовсе, а было только сердце, и оно уже считало не туда.

— Кожин! — крикнул он.

— Двадцать два, — сказал Кожин.

Он сказал это спокойно, как говорил всегда, и остался у двери.

Арсений шагнул к нему.

Прохоров поймал его за куртку и вытащил наружу.

* * *

Наверху был день.

Он лежал на камне, и его рвало, и спину жгло так, что он не мог разогнуться. Кто-то лил ему воду на лицо. В рации хрипели и звали главный участок.

В машине Мазур перевязывал себе бок: белое достало его через куртку, и из-под ребра шла кровь. Он сидел и считал — вслух, как всегда, — сколько осталось бинтов и сколько до города.

— Мазур.

— Три бинта, — сказал Мазур. — Двести десять километров. Мне хватит.

— Ты ранен.

— Все ранены, — сказал Мазур. — Меня в отряде держат не за ногу. Меня держат за то, что я считаю деньги и людей. Так что не мешай.

Через два часа пришёл офицер с планшетом.

Он стоял у машины, смотрел в список и говорил ровно, как говорят текст, который не сами написали:

— Потери: шестеро. Из них трое — линейные, двое — сводные, один — «устанавливается». Объект закрыт частично. Главный участок задачу выполнил.

— Один — «устанавливается», — сказал Прохоров.

— Так написано.

— А кто?

— Устанавливается, — повторил офицер. — Вы свободны.

Он ушёл, а Прохоров стоял и смотрел ему вслед, и Арсений впервые видел, как у этого человека трясутся руки — не от холода, а так.

— Кожин Витя, — сказал Прохоров вслух. — Шестнадцать лет. Считал шаги. Вот кто.

Он сказал это в пустоту, и никто ему не ответил.

Из тыла вышли пятеро.

«Столб-1» вышел весь, в полном составе, и уже грузился в машины; Ярцев стоял у борта, чистый, ровный, и смотрел на разлом.

Он подошёл к Прохорову.

— Ты нарушил приказ, — сказал он.

— Я вытащил четверых.

— Ты нарушил приказ, — повторил Ярцев. — Я напишу.

— Пиши.

Ярцев посмотрел на Арсения — на Арсения, который не мог встать, — и его лицо не изменилось.

— А он у тебя берёт, — сказал он.

— Он вытащил нас.

— Он берёт, — сказал Ярцев. — У мёртвых берут все. Только у него это работает. Знаешь, сколько сейчас у него на спине?

Он наклонился к Арсению и сказал тихо, так, чтобы слышал только он:

— Три. Через год будет семь. Через два — восемь, и тогда ты придёшь ко мне сам.

Он выпрямился.

— Пиши рапорт, Прохоров. Я подожду.

* * *

Ночью он не спал.

Он сидел в казарме, у лампы, с тетрадью на коленях, и писал.

Он хотел написать про Кожина всё, как обещал.

«Кожин Витя, шестнадцать лет. Считал шаги. Любил синт-пельмени. Хотел в девятый отряд. Мать в Норильске, улица Мира, двадцать два, громко говорить: она глухая».

Он прочитал это и понял, что не помнит его лица. В цене стояло последнее лето. Кожина тогда ещё не было в его жизни — почему пропал и он?

Он помнил узкую спину в куртке, помнил, как Кожин говорил «двадцать два», помнил, что у них был один батон на двоих в марте. Он не помнил глаз и не помнил, как Кожин смеялся.

Он закрыл тетрадь, потом открыл и дописал внизу — печатными буквами, чтобы точно прочитать:

«Я обещал помнить. Я не помню.

Ещё я не помню, каким было лето. Совсем. Я знаю, что лето было, потому что мать говорила: „До лета доживём“. Лета нет.

Значит, дальше будет так: я буду становиться сильнее, а помнить — меньше. Этого нельзя остановить. Значит, надо писать больше и раньше.

Кожин, я держу твою дверь. Прости, что не удержал тебя».

Глава 7. Отметка

Комиссия шла в актовом зале краевого управления, под портретом, на котором был изображён первый набор Лиги: тридцать детей в куртках, и половина из них уже была мертва.

Арсений сидел на стуле у стены и отвечал на вопросы.

Их было трое: женщина в сером, которая принимала его в январе, офицер с планшетом и человек без нашивок, который не сказал ни слова за весь разговор и смотрел на него, не мигая.

— Четвёртый, — сказала женщина. — Разлом-14. Изложи последовательность.

— Мы спустились. Примерно на сто сороковом метре я увидел стену с чёрточками. Потом почувствовал, что под нами большое. Доложил. Командир приказал отход, ему не разрешили. Потом вышел Гонец. Главный участок ушёл. Мы остались в тылу.

— Главный участок выполнил приказ, — сказала женщина.

— Он ушёл, — сказал Арсений.

— Он выполнил приказ, — повторила она. — Это разные вещи, и в бумаге будет написано то, что надо. Дальше.

— Потом командир приказал держать. Мы держали. Кожин погиб у двери.

— Кожин, — сказала женщина и посмотрела в планшет. — Тринадцатый сводный, разряд А, одна рука. Почему он был в составе?

— Он был в составе, потому что мы его взяли.

— Кто взял?

Арсений помолчал.

— Я, — сказал он.

Офицер с планшетом поднял голову. Женщина в сером записала.

— Дальше, — сказала она.

* * *

Потом заговорил тот, без нашивок.

— Ты взял в Разломе, — сказал он. — У кого?

— У себя.

— Это возможно?

— Я не знаю, — сказал Арсений. — Я сказал «бери меня», и оно взяло.

Человек посмотрел на него долго.

— Покажи спину.

Арсений не двинулся.

— Покажи спину, — повторил человек, и в его голосе не было ни угрозы, ни спешки: он говорил так, как говорят с прибором.

— Не буду, — сказал Арсений.

Женщина в сером подняла голову.

— Это не вопрос, — сказала она. — У нас есть право на осмотр.

— Тогда приведите врача, — сказал Арсений. — И пусть в бумаге будет написано, что вы смотрели. И что нашли.

Он сказал это и сам удивился, что сказал. Слова вышли ровно, как чужие.

Человек без нашивок молчал секунды три. Потом сказал:

— Не надо.

Он что-то написал в своём блокноте и больше не произнёс ни слова.

Женщина в сером открыла папку.

— Есть ещё один документ, — сказала она. — Рапорт заместителя по безопасности. Он пишет, что главный участок по приказу отошёл, а тыл остался и потерял человека. И что в тылу находился носитель с отметкой «взятие чужого», который применил способность, не указанную в листе допуска.

Она прочитала это ровно, без выражения, и закрыла папку.

— Что скажешь?

— Скажу, что он не написал, что тылу приказали прикрывать отход, — сказал Арсений. — Он написал, что тыл остался. Он не написал, почему.

— Это одно и то же.

— Нет, — сказал Арсений. — Это разные вещи. Так и в бумаге будет.

Женщина в сером посмотрела на него — впервые за весь разговор не в планшет.

— Кто тебя учил так разговаривать? — спросила она.

— Никто, — сказал Арсений. — Я записываю.

Дальше был Прохоров.

Его вызвали через час, и Арсений слышал через дверь, как он отвечает: ровно, коротко, без злобы. Он сказал, что нарушил приказ сам, что решение было его, что отряд выполнял, и что если надо кого-то наказать — вот он.

Комиссия совещалась двадцать минут.

Потом женщина в сером вышла и сказала:

— Командиру тринадцатого сводного — выговор и понижение в должности до исполняющего обязанности. Испытательный срок — шесть месяцев. Отряд сохраняется. Все свободны.

Прохоров кивнул и пошёл к выходу.

Арсений догнал его на лестнице.

— Они вас понизили.

— Понизили, — сказал Прохоров.

— Но вы же их вытащили. Четверых.

— Четверых, — сказал Прохоров. — А Кожин — пятый.

Он остановился и посмотрел на Арсения.

— Слушай, — сказал он. — Ты думаешь, что в нашем деле главное — сила. Главное — бумага. Я двадцать лет хожу в подвалы, у меня сорок выходов и три спасённых отряда, и всё это ничего не стоит, потому что в бумаге стоит «нарушил приказ». Знаешь, что было бы, если бы я не нарушил?

— Что?

— Все пятеро в списке, — сказал Прохоров. — И бумага была бы чистая. Меня бы наградили.

Он пошёл вниз.

— И ещё одно, — сказал он, не оборачиваясь. — Мальчика в институт зовут. К тебе приходили?

— Кто?

— Придут, — сказал Прохоров. — После Разлома придут обязательно.

Человек из института пришёл на следующий день, вечером, в казарму.

Он был в штатском, молодой, вежливый, и он не стал ничего требовать: он сел на табурет, положил на колени папку и заговорил, как говорят с родителями — мягко, по делу.

— Арсений Ильич. Институт «Колодец» приглашает вас на обучение. Это не Лига: у нас своя программа, свои врачи, свой полигон. Сорок тысяч в год, комната, питание, поездки домой дважды в год. Плюс — то, чего в Лиге не будет никогда: вас будут учить.

— Чему?

— Тому, что вы умеете, — сказал человек. — У нас было трое участников программы: один умер, один сидит в палате и считает, у третьей разрушаются кости. Вам предлагают четвёртое место. Мы хотим, чтобы вы научились раньше, чем с вами случится то же.

— А если я откажусь?

— Тогда вы останетесь в тринадцатом, — сказал человек. — И будете ходить в тыл, пока вас не убьют. Это честный ответ, я не люблю врать. Подумайте до показательного выхода.

Он встал.

— И последнее, — сказал он. — В программе есть девочка, ваша знакомая. Волкова. Она у нас третий год.

Арсений поднял голову.

— Как она?

— Плохо, — сказал человек. — У неё в костях песок. Мы не знаем, отчего. Приходите — увидите сами.

Он ушёл.

Арсений сидел на койке и не двигался.

Он знал Киру Волкову по бумагам: пятнадцать лет, разряд В, двести сорок боёв, программа «Индекс», участник третий. Он не мог вспомнить, видел ли её раньше.

Он записал в тетрадь:

«Кира Волкова. Программа. В костях песок. Я не помню её, но она меня знает. Значит, я её забыл.

Надо решить про институт: отказаться — и остаться в тылу; пойти — и учиться у тех, кто делает песок в костях».

Дома он снял куртку и встал к зеркалу.

Отметка выросла.

Она больше не была чёрточкой: от левой лопатки вниз шла тонкая чёрная линия, а от неё — три короткие ветви, и две из них уже были длиннее третьей.

Он измерил её линейкой — деревянной, с делениями.

Восемьдесят миллиметров.

В феврале, когда он впервые её заметил, было десять. Она была тёплая, и когда он поднял руку, она отозвалась — слабо, как отзывается место, которое скоро заболит.

Он попробовал накрыть её ладонью.

Ладонь была холодная. Отметка была тёплая. Он понял, что так и будет теперь всегда.

Он достал из аптечки бинт, отмотал и обмотал грудь — два витка, туго, чтобы не видно было ни линии, ни ветвей. Потом надел рубаху и посмотрел в зеркало ещё раз.

Он был похож на мальчика, у которого перевязаны рёбра.

— Хорошо, — сказал он вслух. — Теперь я раненый.

Он записал в тетрадь:

«Отметка: восемьдесят миллиметров (домашняя линейка). Тёплая. Бинтовать каждый день, говорить, что ушиб рёбра. Прятать и ауру, и отметку.

Прохоров понижен. Это сделали они, а не он.

Меня позовут в институт. Надо решить заранее, что отвечать».

* * *

Учиться прятать ауру было труднее, чем он думал.

Он пробовал возле казармы, за поленницей, где никто не ходил: ставил перед собой задачу — быть скучным. Он видел ауры вокруг: у Тимура синяя и ровная, у Гриши жёлтая и рваная, у Айсена — ничего. Скучная аура была у большинства ашек: серая, неровная, слабая, как мокрое бельё.

Он учился быть как мокрое бельё.

Сначала не выходило: стоило взять ману в руки, как она шла наружу, и аура становилась плотной, как у В.

Потом он нашёл способ: он начал считать наружу.

Он выводил счёт из себя, как выводят пар: ровное, тёплое число шло не внутрь, а в стороны, и вместе с ним уходила и мана — тонко, мелко, но так громко, что аура вокруг становилась шумной, серой и неинтересной.

Он стоял за поленницей и считал: двенадцать поленьев в ряду, сорок восемь в штабеле, шесть окон в казарме, четыре ступени.

Его аура стала как у всех.

Мимо прошёл Айсен с блокнотом и не посмотрел на него.

Мимо прошёл сержант и не посмотрел на него.

Мимо прошёл Тимур и остановился.

— Ты чего стоишь?

— Считаю.

— Чего считаешь?

— Окна.

Тимур посмотрел на него, на окна, потом опять на него — и вдруг сказал тихо:

— Ты это... прячешься, что ли?

— Прячусь, — сказал Арсений.

— Ага. — Тимур подумал. — Ладно. Только ты вот что: не считай всё время. Ты когда считаешь, у тебя лицо пустое. Как у Ярцева.

Он пошёл дальше и на ходу добавил:

— И бинт сними, у тебя под рубахой видно.

* * *

Письмо от Мирона пришло в конце марта.

Оно было написано печатными буквами, крупно, на четырёх страницах школьной тетради, и Арсений читал его вслух, сидя на подоконнике в коридоре штаба.

«Арс. Здравствуй. У нас всё хорошо. Тётя Полина купила козу. Козу зовут Райка, она ест всё, даже мою тетрадь. Я учусь. Учительница говорит, что я хорошо пишу. Я

хожу к Косте, у него есть велосипед, мы катаемся на горку. Костя сказал, что ты охотник и что его брат тоже охотник, только он в Норильске и не приезжает. Мне Аня сказала, что видела тебя по телевизору, но я не верю, потому что ты бы написал.

Арс, а ты когда приедешь? Я написал список, кто есть. Мама, папа, ты, дядя Игнат, Костя, Аня, Райка, тётя Полина, дядя Айсен. Ещё баба Настя, она умерла, но я её пишу. Приезжай, я тебе покажу.

Твой брат Мирон».

Арсений прочитал это дважды.

Он помнил Мирона, помнил тётю Полину, помнил дом и печку. Он не помнил Костю с велосипедом. Он не помнил Аню, которая видела его по телевизору. Он не помнил бабу Настю, которая умерла.

Он сидел на подоконнике и смотрел в список, и внутри ровно шло число, и от этого числа в глазах было сухо, как в стене.

Он взял ручку и ответил:

«Мирон. Здравствуй. Я приеду в мае. Всё, что ты написал, — правда. Я не помню Костю и Аню, но это ничего не значит: я теперь многих не помню, и поэтому ты пиши мне всё, что помнишь, а я буду записывать.

Коza — хорошо. Райка — хорошее имя.

Твой брат Арсений».

Он заклеил конверт, отнёс на почту и по дороге назад, на улице, остановился и посмотрел на свои руки.

Руки были как руки. Он подумал: если я не помню брата изнутри — а я помню только слова «брат», «шесть лет», «Мирон», — то почему я всё ещё пишу ему письма?

Он стоял и не мог ответить.

Потом он понял: потому что он записал. В феврале, перед первым выходом, он записал на первой странице: «Вернусь. Мирон ждёт». С тех пор это работало без него.

Он вернулся в казарму и записал это тоже:

«Письмо от Мирона. Я не помню Костю, Аню, бабу Настю. Я помню только, что он есть. И этого хватает, потому что записано.

Значит, правило такое: писать надо не то, что чувствую, а то, что обещал. Обещания работают без чувств».

* * *

Через неделю на доске вывесили объявление.

Сезон Лиги открывался в апреле: восемь отрядов, четыре выхода, публичный рейтинг, прямые включения. Внизу, отдельной строкой, стояло:

«Тринадцатый сводный — показательный выход. Класс А. Допуск зрителей ограничен».

Вечером в казарме сидели вчетвером.

— Нас покажут, — сказал Мазур. — Это как в цирке: выводят на арену и смотрят, кто как умирает.

— А если не умирать? — спросил Гриша.

— Тогда неинтересно, — сказал Тимур. — Тогда не позовут в следующем сезоне.

— Я не хочу, — сказал Гриша. — Я в Разломе понял: я не хочу.

Он сказал это тихо, и все замолчали, потому что в отряде было не принято говорить такие вещи вслух.

— Никто не хочет, — сказал Мазур. — Все идут.

— Почему?

— Потому что двенадцать тысяч вперёд, — сказал Мазур. — И потому что если ты уйдёшь, то пойдёт другой, а ты будешь сидеть в посёлке и смотреть, как он идёт. Я так и выбрал: лучше идти.

Арсений слушал и считал: четыре человека, рука Гриши из нити, нога Мазура из вязи, восемь выходов на четверых.

Потом он подсел к Мазуру.

— Научи меня, — сказал он.

— Чему?

— Писать так, чтобы не поймали. Ты бумажный человек, ты умеешь.

Мазур посмотрел на него внимательно.

— Это просто, — сказал он. — Никогда не пиши правду целиком. Пиши так: сегодня спустились, завтра поднялись, потери по плану. И всё. Если напишешь правду — тебя посадят; если напишешь ложь — проверят; а если напишешь ничего, то никто не станет читать.

— И так все делают?

— Так делают все, — сказал Мазур. — И ты будешь. Только вот что: свою тетрадь не показывай никому. Ни мне, ни Прохорову. Своя тетрадь — это единственное, что у тебя не отнять.

В дверях стоял Прохоров. Он послушал и сказал:

— Всем спать.

Он вышел, и Арсений пошёл за ним.

— Это из-за вас? — спросил он на улице.

— Это из-за меня, — сказал Прохоров. — Меня понизили, а отряд — вместе со мной. Так всегда: командира наказывают, а отряд показывают. Знаешь, что будет на этом выходе?

— Что?

— Будут смотреть, — сказал Прохоров. — Приедут люди из управления, из «Яруса», из института. И кто-то из них посмотрит на тебя и скажет: «Вот он». Так что решай, Четвёртый. До показательного выхода — две недели. Реши, кем ты будешь на этом выходе.

Он пошёл к казарме.

Арсений стоял на улице, в темноте, и считал: восемь отрядов, четыре выхода, две недели, одна спина.

Он не знал, что решит.

Глава 8. Полигон

Полигон был под городом, в старом бомбоубежище, и в нём пахло резиной и потом.

Там было четыре зала. В первом учили держать: там стояли чучела и два танка — Тимур и парень по кличке Кабан, класс Танк, буква Б, с руками, как канаты; они ходили друг на друга и не могли сдвинуть друг друга с места, и это было похоже не на драку, а на встречу двух стен.

Во втором зале были убийцы.

Там не было чучел, там были мишени из дерева, а по стенам ходили мальчики и девочки с короткими ножами, и они двигались так, что глаз не успевал. Инструктор считал вслух: раз, два, три — удар. Три, два, раз — уход.

В третьем зале тренировались маги.

Их было трое: толстая девочка лет шестнадцати, у которой между ладоней стоял шарик воды и не падал; мальчик с обожжёнными бровями, который поджигал песок в железном корыте; и парень постарше, который ничего не делал — сидел на полу, закрыв глаза, и вокруг него воздух двигался, как у печки.

— Он время учит, — сказал Тимур, глядя на него. — Замедление. Говорят, на третьем уровне может остановить человека на секунду.

— На секунду? — спросил Арсений.

— В бою секунда — это смерть, — сказал Тимур. — Только он её не выучит. Он второй год на первом уровне, и у него уже два пальца не гнутся.

— Почему?

— Потому что каждая ступень что-то забирает, — сказал Тимур. — У танка — кости, у убийцы — нервы, у мага — голову. У тебя, я смотрю, память.

Он сказал это без злобы, как говорят про дождь.

В четвёртом зале было пусто.

Там на полу сидел мальчик лет двенадцати, а перед ним стояло то, что он вызвал: серое, небольшое, похожее на собаку, только без шкуры. Оно стояло неподвижно и смотрело на мальчика, как смотрят собаки, которые ждут команды.

— Призыватель, — сказал Тимур. — Первый за пять лет. Ему двенадцать, а у него уже слуга. Говорят, слуга растёт, если хозяин растёт. Как собака.

— А если хозяин перестанет?

— Тогда слуга его съест, — сказал Тимур. — Так было с предыдущим.

* * *

Перед спаррингами майор устроил разбор.

Он поставил их у стены, а сам ходил вдоль, и говорил, и было видно, что он говорит это в сотый раз и уже не думает, о чём.

— Классы. Слушаем один раз. Танк держит: у него броня, у него масса, он стоит. Убийца бьёт: у него скорость, у него тихий шаг, и на третьем уровне он видит смертельные точки — где бить, чтобы человек умер с одного. Лекарь тянет раны: его

мана переходит в чужую. Маг бьёт одной веткой: огонь, вода, земля, воздух, время, пространство, разум — больше двух не берут, мозги не выдерживают.

— А Призыватель? — спросил кто-то.

— Призыватель — собачник, — сказал майор. — У него слуга. Слуга ест ману хозяина и растёт вместе с ним, а если хозяин останавливается, слуга идёт на волю. В прошлом году такого слугу ловили три дня в коллекторе.

— А Берсерк?

— Берсерк — это то, что вы видели, — сказал майор. — У него нет брони, у него есть ярость, и она сильнее брони. Он бьёт первым и не жалеет себя. Знаете, чем он платит?

— Чем?

— Собой, — сказал майор. — Сначала памятью, как все. Потом чувствами. Потом — кто он. Знаете, что было с тем, кто вышел на третий уровень? Он забыл жену и детей и потом спрашивал у своей жены, кто она такая. Она ему объяснила. Он заплакал.

Он остановился.

— А у тебя что? — спросил он, глядя на Арсения.

— Прочерк.

— Прочерк, — сказал майор. — Прочерк — это значит, что тебя нельзя поставить в строй. Ни в танки, ни в убийцы, ни в маги. Ты — расход и подсобник. Работай, и, может быть, доживёшь до восемнадцати.

Он пошёл к середине зала.

Их вывели в первый зал и поставили к стене.

Инструктор был майор, лысый, с пластырем на шее, и он говорил так, как говорят с инвентарём.

— Тринадцатый сводный. Показательный выход. Класс А. Сегодня — спарринги по протоколу. Кто не хочет — заявление на стол, и в тыл, копать.

Никто не сказал ни слова.

— Первый, — сказал майор. — Ашка против Берсерка.

Он показал на Арсения.

Берсерк вышел из-за стены.

Он был невысокий, но широкий, как шкаф, и на нём не было ни куртки, ни брони: только майка и бинты на руках. Аура у него была красная, с рваными краями, и она не стояла вокруг, как у всех, а шла в разные стороны, мелко и быстро, как кипящая вода.

— Годен, — сказал майор. — Буква Б, класс Берсерк. Работает с шестьдесят восьмого. Уровень третий.

— Он меня убьёт, — сказал Арсений.

— Не убьёт, — сказал майор. — Он на зверях. У него балл восемьсот двадцать, ему нельзя ашек. Но он тебя ударит, и это полезно.

Берсерк вышел на середину и встал.

Он смотрел на Арсения, и в его глазах не было ничего: ни злобы, ни интереса. И когда он двинулся, Арсений увидел.

Он увидел, как за миг до шага красная аура рванулась вперёд: не всё тело, а одна жила — от плеча к кулаку. Число в груди сказала: правая.

Арсений ушёл влево.

Кулак прошёл рядом с головой, и воздух от него толкнул Арсения в стену.

— О, — сказал майор. — Он ушёл.

Берсерк ударил снова. И снова Арсений увидел жилу — на этот раз от бедра к колену, — и снова ушёл, низом, под руку.

Третий раз он не увидел.

Красная аура не рванулась: она погасла. На один вздох у Берсерка не стало ауры, и в этот вздох он оказался рядом.

Удар был в живот.

Арсения сложило, подняло и бросило на маты, и он не слышал, как упал: в ушах шумело. Он хотел встать и не смог. Он хотел вздохнуть и не смог.

Над ним стоял Берсерк и смотрел вниз, и его лицо было спокойное.

— Два, — сказал он.

— Что два?

— Два раза видел, — сказал Берсерк. — Так не бывает у ашек. У тебя что?

— Ничего.

Берсерк усмехнулся и пошёл к стене, и Арсений лежал на матах и смотрел ему вслед.

Только теперь он заметил: у Берсерка на спине, под майкой, был бинт — такой же, как у него. И на затылке, у самой шеи, из-под волос шла тонкая чёрная линия.

* * *

После Берсерка майор не отпустил его.

— Теперь по протоколу, — сказал он. — С убийцей.

Убийца был мальчик его лет, тонкий, с коротким ножом и с лицом, на котором не было ничего. Он не стал разговаривать: майор сказал «начали», и мальчик исчез.

Не исчез — смазался. Арсений не увидел его лица: он увидел, как аура мальчика стала тонкой, как нитка, и вытянулась в сторону, — и по этой нитке понял: за спину. Так работает «Тень»: убийца не исчезает, он сжимается в нить и уходит по ней, и там, где нить проходит, воздух не двигается.

Он развернулся и закрыл лицо руками.

Нож не дошёл: майор свистнул.

— Видел, — сказал мальчик. — Он меня видел.

— Ещё раз, — сказал майор.

Они сделали ещё три.

На втором заходе мальчик изменился: глаза у него остановились, и Арсений увидел, как в его зрачках пошла тонкая белая искра — точку он увидел. Мальчик шагнул вбок, в нить, и ударил в неё: не по корпусу, а под ключицу, в место, где сходятся жилы. Нож шёл плашмя — майор запретил боевой, — но даже так у Арсения онемела рука.

— Ты видишь точку? — спросил майор мальчика.

— Вижу, — сказал тот. — Слабую.

— Слабую, — согласился майор. — Значит, второй уровень, а не третий. На третьем ты её не ищешь: она сама светится.

Два раза Арсений успел закрыться, один раз нож дошёл — плашмя, под ключицу.

— Маг, — сказал майор.

Вышла девочка с шариком воды между ладоней. Она не стала ничего делать: она стояла и смотрела, и Арсений видел, как вода в шарике дрожит.

Потом шарик стал тонким, как хлыст, и ударил.

Так работает вода: она не бьёт, она режет. Хлыст прошёл там, где Арсений стоял секунду назад, и рассёк воздух с сухим щелчком.

Он успел уйти, и хлыст срезал край куртки и оставил на плече полосу, как от крапивы.

— Молодец, — сказал майор девочке. — А теперь покажи, чего тебе стоит такой хлыст.

Девочка показала: у неё из носа пошла кровь, и пальцы на обеих руках затряслись. Она вытерла лицо рукавом и посмотрела на Арсения так, как смотрят на ровню.

— Танк, — сказал майор.

Вышел Кабан.

Кабан не ударил ни разу.

Он сделал то, что делает танк: выдохнул, и кожа у него на руках и на шее стала серой, матовой, как старое олово, — «Броня». Потом он просто пошёл на Арсения, как идёт стена, и Арсений уперся в него руками, и его отнесло к стене, и там прижало.

— Прикрытие, — сказал майор.

И тогда Тимур — который стоял у стены и ждал своего выхода — шагнул вперёд и встал между Кабаном и Арсением, и принял этот вес на себя. Он не отскочил и не упал: он врос, и лицо у него стало белым, и кровь из носа пошла сразу, двумя струями.

— Вот, — сказал майор. — Вот это «Прикрытие». Танк не тот, кто много бьёт, а тот, кто много держит. Запомните все.

Кабан отступил.

Тимур сел на пол и долго не мог встать, а когда встал, сказал негромко:

— Больше не бей его так. Он мне не чужой.

— Вот, — сказал майор. — Вот это и есть классы. Ты против танка — ничто. Ты против мага — ничто. Ты против убийцы — ничто. Ты можешь только убежать, и это тоже результат: живых ашек у нас мало.

Он ушёл, и в зале стало тихо.

В медпункте его осмотрела женщина в халате.

Ей было двадцать пять, у неё были сухие руки и внимательные глаза, и она не спрашивала, что случилось: она приложила ладонь к его животу, и от ладони пошло тепло — ровное, как от печки.

Арсений смотрел и видел: её мана шла из неё в него тонкой струёй, и на это уходило много.

— Ребро целое, — сказала она. — Кровь в живот не пошла. Вставай.

Он встал.

— Как вас зовут?

— Вэй. Лидия Аркадьевна. — Она вытерла руки. — Лекарь, буква В, третий уровень. Работаю на Полигоне, потому что здесь всегда есть работа.

Он оделся и уже пошёл к двери, когда она сказала:

— Громов.

Он обернулся.

— У вас бинт не от ушиба, — сказала Вэй. — Я видела, при осмотре, когда вы сняли рубаху. Там линия и ветви.

Арсений молчал.

— Не бойтесь, — сказала она. — Я не в управление. Я лекарь: я вижу ману, а не бумаги. Но я вам скажу одну вещь. То, что у вас растёт на спине, растёт изнутри. Оно ест не память.

— А что?

— Оно ест чувства, — сказала Вэй. — Память — это то, что вы замечаете. А чувства уходят первыми, и вы этого не замечаете, потому что чувствовать нечем. Знаете, как я это узнала?

— Как?

— У меня был брат, — сказала Вэй. — Он был носитель. У него на спине тоже росло. Он умер, когда перестал бояться.

Она открыла дверь.

— Приходите через неделю. Покажу вам, как останавливать кровь, — сказала она. — Потому что тот, кто с вами ходит, будет ранен, а я не всегда успею.

* * *

В коридоре Полигона его догнал Гриша.

— Арсений.

— Что?

— Научи меня, — сказал Гриша. — Тому, что ты делаешь. Я видел, как ты уходил. Я не могу так, у меня рука чужая, и мана плохо идёт, но я хочу уметь.

Арсений остановился.

— Это не умение, — сказал он.

— А что?

— Это цена, — сказал Арсений. — За каждый новый ход, который я выбираю, я что-то забываю. Я забыл Кожина. Я не помню лета. Я не помню Костю с велосипедом, который у брата в тетради.

Гриша смотрел на него.

— И что? — сказал он.

— Как — «и что»?

— У меня тоже цена, — сказал Гриша. — У меня рука не своя, и я каждую ночь просыпаюсь от того, что тону. Я бы отдал память, если бы взамен мог держать баллон и не бояться.

Он сказал это спокойно, как говорят про деньги.

— Нет, — сказал Арсений.

— Почему?

— Потому что тогда ты перестанешь быть Гришей, — сказал Арсений. — Я вижу по Берсерку: он сильный, а внутри у него пусто, и он сам об этом знает. Я не хочу, чтобы ты стал таким.

Гриша постоял, потом кивнул и пошёл в казарму.

В лагерь он вернулся поздно.

Тимур ждал его у казармы, сидел на ступеньке и ел что-то из банки.

— Живой?
— Живой.
— Хорошо, — сказал Тимур. — Он тебе что сказал?
— Сказал, что я два раза видел.
Тимур перестал жевать.
— Два, — сказал он. — Это много. Это Г так может.
— Мне всё равно.
— Тебе не всё равно, — сказал Тимур. — Тебе надо, чтобы было всё равно, а это разные вещи. Слушай. — Он поставил банку на ступеньку. — Тебя на выходе будут смотреть. Майор, институт, «Ярус», может, Ярцев. Ты должен проиграть.
— Что?
— Проиграть, — сказал Тимур. — Красиво, но проиграть. Если ты выиграешь, тебя заберут. Если ты проиграешь как ашка — тебя оставят в тылу и дадут жить. Понял?
Арсений молчал.
— Понял я, — сказал он наконец.
— Нет, — сказал Тимур. — Не понял. Ты сейчас думаешь: «Я не буду проигрывать, я буду держаться». Так думают все, и всех забирают.
Он встал.
— Я тебе не приказываю, — сказал он. — Я тебе говорю, как жить. Это разное, и это единственное, чему я научился за два года.
Он ушёл в казарму.
Утром в медпункт привезли девочку.
Она не была из отряда и не была на спаррингах: её привезли на машине из института, на процедуры, и Вэй провела её мимо Арсения в кабинет, и он увидел.
Она была тонкая, серо-жёлтая, как старый воск, и кисти рук у неё были в бинтах. Она шла сама, не опираясь, и держалась ровно, как держатся люди, которым больно и которые не хотят этого показывать.
Он знал это лицо. Он не помнил его, но знал: так бывает с фотографиями, которые видел в чужих бумагах.
— Кира, — сказал он.
Она остановилась.
— Ты меня не помнишь, — сказала она.
— Не помню.
— А я тебя помню, — сказала Кира. — Мы были на предварительном отборе в семьдесят девятом, у нас был один стол и один стакан.
Она помолчала.
— У меня песок в костях, — сказала она. — Мне говорят: это от программы. Я не верю: программа не про кости, программа про голову. Хочешь, я тебе скажу, что там на самом деле?
— Скажи.
— Там делают сосуд, — сказала Кира. — Из детей. Для Короны.
Она сказала это ровно, как говорят числа, и пошла в кабинет, и дверь за ней закрылась.
Арсений стоял в коридоре.

Он записал в тетрадь, стоя, у стены:

«Кира Волкова. Помнит меня. У неё песок в костях. Она сказала: из детей делают сосуд для Короны.

Про Корону я пока знаю только со слов Киры.

Надо узнать, надевал ли её кто-нибудь раньше».

Арсений сидел на ступеньке и считал: сорок матов, две стены, восемь ламп, один бинт.

В окне второго этажа горел свет: там сидел майор и заполнял бумаги, и в его бумагах уже было написано про ашку, который два раза ушёл от Берсерка.

Глава 9. Сезон

Сезон открылся девятнадцатого апреля, и в этот день к Полигону пригнали три автобуса со зрителями.

Их пустили за забор, но не в залы: для зрителей сделали трибуну у дальнего края, из досок и металлических труб, и поставили два экрана, на которые шло изображение из очагов. Билет стоил шестьсот рублей. Купили все.

— Зачем они пришли? — спросил Арсений.

— Смотреть, — сказал Мазур.

— На что?

— На то, как мы умираем, — сказал Мазур спокойно. — Люди платят деньги, чтобы увидеть то, чего у них самих не случится. Один билет — шестьсот рублей, четыре выхода в месяц, восемь отрядов. Считай.

Арсений посчитал и не стал говорить вслух.

На сцене, у трибуны, стоял человек с микрофоном — тонкий, весёлый, в куртке с нашивкой Лиги, — и говорил в камеру так, как говорят на рынке, когда расхваливают товар.

— Итак, друзья, сезон восемьдесят первого открыт! Восемь отрядов, четыре выхода, живой рейтинг «Столб» — и сегодня, впервые за три года, показательный выход: тринадцатый сводный!

Трибуна зашумела.

— Тринадцатый — это, друзья, наши младшие, — сказал человек в микрофон, и голос у него стал тёплым, как у учителя. — Четверо ребят с командиром. Мы заботимся о них с четырнадцати лет: кормим, лечим, учим, страхуем. Сегодня вы увидите, как эта забота выглядит в цифрах: норма выхода — сорок минут, доля — двенадцать тысяч на отряд, и всё это записано в их контрактах, которые они подписали сами, добровольно, как взрослые.

Он поднял палец.

— И запомните главное, друзья: они работают по норме. Не больше и не меньше. Кто выполнит норму — получит повышение и пойдёт дальше; кто не выполнит — останется в моей отчётности, и я буду отвечать за него лично.

Трибуна зааплодировала — не зло, а с облегчением, как аплодируют после хорошей лекции о пользе прививок. Женщина во втором ряду подняла плакат «АШКИ, ДЕРЖИТЕСЬ» и заплакала. Мужчина рядом с ней встал и пошёл к выходу, и никто не обернулся ему вслед.

Арсений стоял в проёме, за сеткой, и видел их: двести человек, в куртках, с детьми, с термосами, как на праздник. Кто-то держал плакат, на котором было написано «АШКИ, ДЕРЖИТЕСЬ».

— Двести, — сказал он.

— Двести девятнадцать, — сказал Мазур. — Я посчитал. Сорок восемь женщин, одиннадцать детей, шесть в форме.

— Ты всегда считаешь?

— Я бумажный человек, — сказал Мазур. — Мне так спокойнее.

Перед выходом все восемь отрядов вывели на площадку.

Это было нужно не для дела, а для зрителей: их ставили в ряд, и человек с микрофоном называл каждого, и трибуна кричала.

— Первый — «Столб-1»! Ярцев, буква Г! Четыреста закрытых очагов, ноль потерь за два года!

Трибуна заревела.

Арсений смотрел на Ярцева, который стоял ровно, как на плакате, и не улыбался, и в его ауре не было ни движения, ни трещины: плотно, тяжело, на месте.

— Второй — «Пламя»! Маг, буква В, ветка огня, третий уровень — Дудник-младший!

Вышел мальчик лет семнадцати, с обожжёнными бровями, и поднял руку, и над рукой вспыхнул шар размером с голову, и трибуна ахнула.

— Третий — «Волчья», Призыватель, буква В! У неё слуга третьего уровня!

Вышла девочка с серым волком на цепи — не на цепи, а на поводке из маны, и волк шёл рядом, и его глаза были как у собаки, которая очень долго не ела.

Арсений смотрел и считал: восемь отрядов, шестьдесят четыре человека, одиннадцать магов, два призывателя, один берсерк, четыре танка. И один прочерк — его собственный.

— Восьмой — тринадцатый сводный! — сказал человек в микрофон. — Показательный отряд сезона!

Трибуна засмеялась и захлопала.

— Ашки, — сказал Тимур. — Хоть не «мясо».

— Мясо в конце, — сказал Мазур. — Так всегда пишут в афишах.

Очаг был под старым элеватором, и он не относился к классу А.

Арсений понял это сразу, как только они спустились: воздух в подвале стоял тёплый и плотный, и в этом воздухе шёл счёт — не ровный, как всегда, а сбивчивый, как дыхание бегущего человека.

— Прохоров, — сказал он. — Это не А.

— Знаю, — сказал Прохоров.

— Мы готовились к А.

— Готовились к А, — согласился Прохоров. — В бумаге написано А. Знаешь, что написано в другой бумаге?

— Что?

— Что зрителям нужен хороший выход, — сказал Прохоров. — Двести девятнадцать билетов по шестьсот. Считай сам.

Он включил рацию.

— Тринадцатый внизу. Очаг класса Б. Требую отмены.

Рация молчала секунды три.

— Выход согласован, — сказала рация. — Работайте.

— Требую отмены, — повторил Прохоров.

— Выход согласован, — сказала рация. — На вас камеры. Работайте, тринадцатый.

Прохоров снял с плеча ремень и посмотрел на них.

— Ну что, — сказал он. — Работаем по-моему. Тимур, стена. Мазур, камеры и рация. Гриша, баллон. Четвёртый — считаешь и держишься рядом.

— А кто на камеру смотреть будет? — спросил Тимур.

— На камеру смотреть буду я, — сказал Прохоров. — Я двадцать лет работаю, и я знаю: когда на тебя смотрят, люди делают глупости. Пусть делают не наши.

* * *

Ещё до спуска, у входа в подвал, их догнал второй линейный.

Тот самый парень с нашивкой Б, которого Тимур разобрал в столовой. Он был со своей четвёркой, в новых куртках, и он остановился рядом и посмотрел на них сверху вниз, потому что был на голову выше.

— Ашки, — сказал он. — Вас сегодня покажут.

— Покажут, — согласился Тимур.

— Сколько вам заплатили?

— Двенадцать тысяч вперёд на каждого, — сказал Мазур. — И доля.

— Доля, — сказал парень и засмеялся. — Доля у вас ноль. Вы показательный выход: вам платят за то, что вы идёте, а не за то, что закроете.

— Верно, — сказал Мазур. — А тебе сколько?

— Тридцать.

— Тридцать, — сказал Мазур. — И ты не показательный. Значит, ты идёшь закрывать, а мы — умирать, и разница в восемнадцать тысяч. Нормальная ставка. Пойдём, ребята.

Парень стоял и смотрел им вслед, и было видно, что он не понял, кто из них кого разобрал.

Их было четыре: два Сора, один Служка и — в дальнем конце, за трубами — что-то четвёртое, что Арсений видел, но не понимал.

Соры вышли первыми: мелкие, серые, на четырёх ногах. Тимур поставил стену, и они остановились, и Гриша сжёг их баллоном быстро, аккуратно, как и положено.

— Хорошо, — сказал Прохоров.

Служка вышел из-за трубы сам.

Он был средний — в два человеческих роста, с руками до пола, с серыми жилами по всему телу. Он не бросился: он встал и посмотрел.

— Прохоров, — сказал Арсений.

— Что?

— Он умный.

Арсений видел: аура у Служки была не ровная, как у всех навьих, а пятнами, и эти пятна двигались — так двигается мысль по лицу человека.

И ещё он видел, что за трубами стоит четвёртое, и что у четвёртого ауры нет вовсе.

— Там ещё кто-то, — сказал он. — У него нет ауры.

Прохоров медленно посмотрел туда.

— Гонец, — сказал он. — Очаг мы бы закрыли. Это гнездо.

— Что делаем?

— Уходим, — сказал Прохоров. — Все к лестнице. Быстро.

Рация зашипела.

— Тринадцатый, что происходит? У вас на камерах насекомые. Работайте.
— Отмена, — сказал Прохоров в рацию. — Гнездо. Уходим.
— Выход согласован, — сказала рация. — Если вы уйдёте, отряд расформируют, а вас отдадут под трибунал. Работайте.
Служка шагнул вперёд.

* * *

Тогда Арсений и увидел всё.
Он увидел не бой, а схему: где стоят пять человек, где лежит серое от двух Соров, где Служка, где — за трубами — Гонец и где выход. Тимур тратил ману слишком быстро — стены хватит ненадолго. Гриша сжимал вентиль полного баллона, Мазур держал рацию и едва переносил вес на протез. Служка отрезал поворот, через который должен был уходить Прохоров.

И он увидел, что можно сделать.
Он мог выйти вперёд и взять. Тогда они выйдут все.
Он мог не вмешиваться. Тогда каждый побежит сам, а Мазур останется у трубы. Арсений спрячется первым — и это ещё не значит, что выйдет. Ашка его роста и веса не бегаёт быстрее твари.

За стеной, наверху, сидели двести девятнадцать человек, и камеры смотрели вниз, и в камерах было видно его лицо.

Он думал три секунды — ровно три, он потом вспоминал это число всю жизнь.
Потом он поднял куртку и посмотрел на свой бок: там, под бинтом, тёплая линия и три ветви. Он подумал: если я возьму, они увидят. Если я не возьму, они увидят похороны.

Он сказал:
— Тимур, в стену через двадцать секунд. Гриша, баллон по моей команде. Мазур, ты у стены, упадёшь — я тебя вытащу. Прохоров, вы бьёте в левый бок, там сухо, я вижу.
— Четвёртый, — сказал Прохоров.
— Я не буду брать, — сказал Арсений. — Я буду считать.

* * *

— Восемь! — сказал Арсений. — Гриша, сейчас!
Гриша повернул вентиль до упора. Холод побежал по полу, обхватил ноги Служки. Тварь рванулась к нему; Арсений толкнул Гришу за трубу и продолжил считать.

На двадцатом счёте Тимур выставил руки. Стена отрезала поворот. Служка ударила в неё; Тимура качнуло, но проход остался закрыт. Прохоров зашёл сбоку и ударил туда, куда показал Арсений. Тварь согнулась, открыв лестницу.

Мазур добрался до трубы и упал. Протез скользил по бетону, не принимал вес. Арсений сунул плечо ему под руку, потянул — слишком тяжело. За спиной треснула Стена.

— Тимур, к лестнице! Прохоров, ещё левее!
Он ухватил Мазура за куртку обеими руками, подтянул к ступени. В спине хрустнуло; Арсений не отпустил. Мазур зацепился здоровой ногой, помог поднять себя. Гриша бежал впереди с пустым баллоном, танк пятился следом за ними.

Через семь минут все пятеро вышли наверх. Арсений довёл Мазура до ограждения и сел рядом на пол.

На трибуне стоял человек с микрофоном и кричал в камеру:

— Они вышли! Друзья, вы это видели? Тринадцатый сводный вышел в полном составе! Это сенсация сезона!

Трибуна хлопала.

Никто из зрителей не заметил, что очаг не закрыт.

* * *

После выхода их ждали двое.

Первый был из «Яруса» — молодой, в хорошем пальто, с папкой.

— Куртки с логотипом, — сказал он. — Тридцать тысяч в месяц на отряд, плюс стирка, плюс ремонт. Условие одно: в кадре вы носите наше.

— И что мы говорим в кадре? — спросил Мазур.

— Ничего не надо говорить, — сказал человек. — Достаточно, что вы живые и в наших куртках. Люди смотрят на живых.

Он ушёл, и Мазур сказал, ни к кому не обращаясь:

— Тридцать тысяч — это четыре протеза. Или один протез и три месяца еды для посёлка.

Второй был из института.

Он не стал ничего предлагать: он просто вошёл, посмотрел на Арсения и сказал:

— Вы не взяли на камерах.

— Не взял.

— Почему?

— Потому что люди смотрели, — сказал Арсений.

Человек кивнул, как будто отметил это где-то внутри себя.

— Я вам скажу одно, — сказал он. — Скоро вам придётся выбирать не между тем, что увидят люди, а между тем, кто умрёт. И когда вы выберете отряд, вы перестанете быть человеком в их глазах. Я не упрекаю. Это арифметика.

Он пошёл к двери и на пороге добавил:

— По Кире. Тесты сегодня пришли. Песка стало больше на восемь процентов за месяц. Если темп сохранится, ей осталось меньше года. Приходите посмотреть, пока она ещё ходит.

Он ушёл.

Арсений сел на койку.

Вечером Мазур разложил на столе бумаги.

— Итог, — сказал он. — Рейтинг: мы поднялись с последнего места на шестое из восьми. Доля: ноль, потому что очаг не закрыт. Балл Прохорову: минус двадцать за «нарушение регламента выхода». Отряду: предупреждение.

— И всё? — спросил Тимур.

Мазур покачал головой и посмотрел на Арсения.

— Видел, как ты меня тащил, — сказал он. — Завтра моя очередь.

— Дотащишь? — спросил Арсений.

— Ты полегче. С тобой справлюсь.

Тимур улыбнулся и потёр плечо.

Мазур собрал бумаги.

— И ещё. Один из зрителей оставил отзыв. Я читал. Там написано: «Отряд ашек впервые показал человеческое лицо». Ты понимаешь, что это значит?

— Что?

— Что мы им понравились, — сказал Мазур. — А понравиться зрителям — хуже, чем провалиться. Теперь нас будут звать в следующем сезоне.

Он вышел.

Ночью Арсений сидел на койке и пытался вспомнить Киру на раннем отборе.

Лицо не приходило. Остались её слова: из детей делают сосуд для Короны. Арсений решил узнать, кто носит её сейчас. В следующий раз он хотел прийти к ней с ответом.

Отметка достигла ста четырёх миллиметров — после Разлома прибавилось двадцать четыре. После выхода спина болела; Вэй связывала боль с маной, а не с ростом.

На следующем выходе от них потребуют закрытый очаг. Сегодняшнего возвращения живыми для рейтинга было мало.

Он лёг на бок, чтобы не давить на бинт.

Глава 10. Третий

Школа стояла третьей в плане сезона. Второй назначенный выход отменили; номера в бумагах не меняли. Двадцать шестого апреля тринадцатому дали этот объект.

Она стояла на окраине, за рынком: три этажа, разбитые окна, во дворе турник, на котором висели качели. Школу закрыли в семьдесят девятом, когда в подвале пошёл пар, и с тех пор в ней жили только голуби и бригады, которые ставили манжеты.

— Класс Б, — сказал Мазур, разворачивая бумагу на капоте. — Третий по плану, второй фактический выход сезона. Очаг в подвале, растёт по трубам отопления. Если не закрыть до конца месяца, пойдёт в соседние дома: там живут двести сорок человек.

— А если закроем? — спросил Тимур.

— Тогда доля, — сказал Мазур. — И рейтинг. И, возможно, спонсор не уйдёт. Считай сам: тридцать тысяч в месяц — это протез для меня и еда для посёлка. Если мы провалим третий выход, «Ярус» уйдёт, и нам останется Лига: двенадцать тысяч и три бинта.

— А люди?

— Двести сорок человек живут дальше, — сказал Мазур. — Это тоже считается, но не в нашей бумаге.

Он сложил лист.

— Я тебе всё сказал. Дальше решает Прохоров.

Прохоров стоял у машины и смотрел на школу.

— Пойдём так, — сказал он. — Тимур, стена на входе. Гриша, баллон наготове, но не тратить. Мазур, ты держишь связь и считаешь время. Четвёртый — со мной, считает и смотрит.

— А берём? — спросил Тимур.

— Не берём, — сказал Прохоров. — Сегодня закрываем. Мы два выхода подряд ничего не сделали; если и этот провалим, нас разгонят, а вас распихают по бригадам, где вы будете умирать в одиночку.

Он посмотрел на Арсения.

— Ты понял? Сегодня — работа.

— Понял.

* * *

В школе было тихо и пыльно, и в ней всё осталось как было.

В коридоре висели стенды: «Наши отличники», «Расписание кружков», и на стендах всё ещё были фотографии детей — маленькие, чёрно-белые, с подписями. В классе на первом этаже стояли парты, а на доске было написано мелом: «Контрольная по алгебре — 12 марта», и число никто не стёр: в марте семьдесят девятого всем стало не до контрольной.

— Смотри, — сказал Гриша.

Он поднял с пола ботинок: маленький, детский, с одной шнуровкой.

— Тут дети учились.
— Тут все учились, — сказал Тимур.
Он постоял у доски, посмотрел на число, потом стёр его ладонью — быстро, как будто ему стало стыдно.
— Пойдём, — сказал Прохоров.
Они пошли вниз.
В подвале уже были люди.
Арсений увидел их маны раньше, чем самих: четыре точки, мелкие, слабые, и все четыре — за стеной, в дальней комнате, за перегородкой, где была котельная.
— Там кто-то есть, — сказал он.
— Где?
— В котельной. Четверо. Слабые.
Прохоров остановился.
— Второй линейный, — сказал он. — Они пошли первыми, час назад.
— Почему не сказали, что очаг занят?
— Потому что за это платят, — сказал Прохоров. — Если очаг закроют они, доля их, если мы — наша. За нами никто не скажет, что мы трусили.
Он шагнул вперёд и включил рацию.
— Второй линейный, ответьте.
Рация молчала.
— Второй линейный, ответьте.
— Здесь, — сказала рация. Голос был молодой и беспокойный. — У нас двое раненых, мы в котельной, выход завалило. Нас трое... нет, четверо.
— Кто говорит?
— Дудник. Мы шли первыми, мы не знали, что тут гнездо.
Прохоров посмотрел на Арсения.
— Что видишь?
Арсений смотрел на ману и считал: четыре точки, две слабые, две почти пустые. А между ними и их отрядом — в трубах, в стенах, под полом — шло ещё одно: тёплое, длинное, без формы, как река.
— Оно окруж них, — сказал он. — Оно не нападает. Оно держит.
— Гнездо, — сказал Прохоров. — Оно их не убьёт сейчас. Оно подождёт, пока они ослабеют.
Он поднял руку и посмотрел на часы.
— Решаем. За нами камеры, у нас класс Б, и в котельной четыре человека. Мазур, что скажет бумага?
— Бумага скажет: закрывать очаг, — сказал Мазур. — Спасать людей — это не наша задача, у нас нет класса.
— А ты что скажешь?
— Я скажу, что четыре человека — это четыре, — сказал Мазур. — Но у нас самих две руки, одна нога и один баллон.
Прохоров молчал секунды пять.
— Я скажу, — сказал Тимур.
— Говори.

— Мы два выхода ничего не сделали, — сказал Тимур. — Нам нужен очаг, нам нужна доля, нам нужен спонсор, иначе Мазур не получит ногу, а посёлок — еду. Всё это правда. Только вот что: когда мы закроем трубу, в котельной останутся четверо, и через два дня в сводке будет написано «потери не установлены». Я эту строку видел. Я её читал, когда хоронили Кожина.

Он посмотрел на Прохорова.

— Я не хочу больше читать эту строку.

Прохоров молчал.

— Идём за людьми, — сказал он. — Рейтинг подождёт.

* * *

Прежде чем идти дальше, Прохоров собрал их у стены.

— Слушайте, что там, — сказал он. — Ни Служки тут, ни Сора. Это Тёк: колония. Он живёт в трубах отопления и растёт по ним, как плесень растёт по хлебу. Тела у него нет — есть жила: белая, мокрая, толщиной в руку, и она тянется на сотни метров. Ртов у него три: на стыках труб. Вот здесь, здесь и здесь, — он показал на схеме. — Он не убивает сразу. Он берёт тепло: тронешь — отдашь, и чем дольше стоишь, тем меньше в тебе остаётся.

— А сердце? — спросил Арсений.

Прохоров посмотрел на него.

— У него в котельной котёл, — сказал он. — Старый, чугунный, семьдесят лет. В котле — узел: там всё сходится. Если узел разбить, колония рассыплется за минуту. Если не разбить — она будет расти, и до конца месяца пойдёт в соседние дома.

— Почему не разбили?

— Потому что до котла двадцать два метра по трубе, а труба — это он.

Он поднял баллон и посмотрел на Гришу.

— Гриша, холод держишь на ртах. Мазур, ты кузнец — ставь нить на стыке, у тебя четыре метра проволоки, больше не дам. Тимур, кольцо на нас. Четвёртый — счёт. Я иду к котлу.

Он посмотрел на часы.

— Двадцать две минуты. Потом у нас кончается воздух в баллоне.

В коридоре стало темно, и в темноте было слышно дыхание: ровное, большое, и оно шло отовсюду.

— Тимур, — сказал Прохоров. — Стена.

Тимур поставил стену — не поперёк коридора, а вокруг них, кольцом, и они пошли внутри этого кольца, как идут внутри шара.

Арсений считал: двенадцать метров до поворота, четыре до котельной, девять человек, три фонаря, один баллон.

На повороте оно показалось.

Не тварь: река.

Оно текло из трубы в трубу, заполняло проём и не имело ни головы, ни глаз, ни зубов. Арсений увидел, из чего оно сделано: белая, мокрая, как вываренное мясо, жила толщиной в человеческую руку, и таких жил были десятки — они сплетались в жгут, жгут разветвлялся, и всё это двигалось, как движется кишка: медленно, волной.

Три раза в этом движении жгут раскрывался, и Арсений понял, что это рты: не пасти, а места, где жила расходится воронкой и втягивает воздух. У ртов воздух был мокрый и тёплый, и туда тянуло, как тянет из открытой печи.

Примета была простой: перед тем как рты раскрывались, в трубах начинало гудеть — низко, как гудит вода в старом стояке. Арсений слышал это гудение кожей.

А внутри, за двумя поворотами, в белом, стояли четыре человеческие маны, почти пустые, и они дрожали, как дрожит вода в стакане, когда по столу стучат.

— Нить! — сказал Арсений. — Мазур, на стык, где второй рот!

Мазур выхватил из-за спины моток и размотал его на два шага: серую, тонкую, как паутина, проволоку — и кинул так, что она легла поперёк проёма, у самого стыка. Он не бил и не резал: он поставил её, и когда жгут пошёл в проём, нить вошла в него, как нож входит в масло.

Жгут дёрнулся: мокро, тяжело. Из разреза на пол полилось белое, и в белом зашипело.

— Гриша, на разрез!

Гриша поднял баллон и ударил холодом в разрез: белое там схватилось, стало плотным, как стеарин, и перестало двигаться.

— Держу! — сказал Тимур, и его стена выгнулась.

— Гриша, не сейчас! — крикнул Прохоров. — Четвёртый, что там?

Арсений смотрел.

Он видел: река не живая, а считающая — она не нападала, она ждала, и там, где она касалась людей, она брала: тепло, ману, дыхание. В котельной три человеческих следа бледнели быстрее четвёртого. Ещё несколько минут такого оттока — и он потеряет их.

— Прохоров, — сказал он. — Я возьму.

— Где?

— Здесь. Прямо здесь.

— Тебя увидят.

— Я знаю.

Прохоров посмотрел на него — в темноте, при свете фонаря, — и сказал:

— Бери.

Арсений закрыл глаза и открыл Дао.

— Котёл! — крикнул Прохоров из белого. — Четвёртый, я его не вижу, я в нём!

Арсений смотрел сквозь жгут и видел: в котельной, за двумя поворотами, в чугунном котле стояло плотное, тёмное пятно — не мана и не тело, а место, где всё сходится. Узел.

— Двадцать метров прямо, — сказал он. — Прохоров, у тебя две трубы наперерез, левая выше.

— Понял.

— И там третий рот. Он проснётся через сорок секунд.

— Успею.

Он не стал искать танка и не стал искать убийцу. Он взял у стены, у этой трубы, у того места, где стоял: он сказал в чёрной комнате: «Бери меня и держи их» — и надпись пришла сразу.

ХОД ЧЕТВЁРТЫЙ. ВЗЯТО: ХРАНИТЕЛЬ. ЩИТ НА ЧЕТЫРЁХ. ЦЕНА: ЗАПАХ КУХНИ. СРОК: ОДНА МИНУТА.

Он не успел пожалеть.

Стена Тимура лопнула, и река пошла на них, и тогда Арсений встал вперёд и растопырил руки, и над четырьмя людьми в котельной, в двенадцати метрах от него, встало то, чего он не умел объяснить: тонкое, как стекло, кривое, но твёрдое.

Река ударила и не прошла.

Она ударила второй раз, и щит треснул, но выдержал.

А потом в глубине, за двумя поворотами, глухо ударило: раз, другой, третий. Прохоров бил в котёл протезом — левой, серой вязью, — и от каждого удара белое по всему коридору дёргалось, как дёргается шкура, когда в неё бьют изнутри.

— Ещё! — сказал Арсений в рацию. — Ещё два раза, там корка!

— Не могу, — сказал Прохоров. — Он меня держит.

Арсений увидел: в котельной белое обмотало Прохорова по грудь и тянуло к котлу, и маны у Прохорова оставалось семь процентов.

— Мазур, нить за мной! — сказал Арсений. — Тимур, прикрой Гришу, что бы ни было!

Он пошёл в белое.

Он шёл и считал: восемь метров до поворота, четыре до второго, двенадцать до котла, и в белом — три рта, и все три уже открыты.

На девятом метре рты повернулись к нему.

— Первый рот! — крикнул он. Гриша ударил холодом, и жила встала на две секунды. На втором стыке холод лёг коркой, но под коркой опять пошло белое. Арсений указал Мазуру третий стык, и тот натянул нить поперёк жилы. Рты дёрнулись и остановились.

Прохоров выдернул левую руку из ослабевшей жилы и ударил ещё два раза. На втором ударе узел треснул.

А потом она пошла назад — в трубу, в пол, в стены, — и там, где она ушла, стало холодно, и в холодном воздухе Арсений услышал, как четыре точки в котельной снова дышат.

— Дверь! — крикнул Прохоров. — Гриша!

Гриша переключил баллон и сжёг перегородку. Дверь котельной открылась. Щит Арсения погас: минута кончилась, но колония уже отступала.

* * *

В котельной было парно и мокро.

Четверо сидели на трубе, у стены, и когда они увидели свет фонаря, один из них заплакал — сразу, беззвучно, как плачут люди, которые уже не надеялись.

— Кто здесь Дудник? — спросил Прохоров.

— Я.

— Нога?

— Перебита. Я идти не могу.

Прохоров посмотрел на остальных: один без сознания, у второго разбита голова, третий — мальчик лет пятнадцати — сидел и держал чужую руку, как держат вещь.

— Слушай сюда, — сказал Прохоров. — Сейчас мы вас вынесем. Кто может идти — идёт сам, кто не может — того несут. Поняли?

— Поняли.

— Тогда встали.

Мальчик пятнадцати лет встал и не отпустил руку товарища.

— Ты кто? — спросил его Арсений.

— Кузьма.

— Ты его не тащи, — сказал Арсений. — Ты его держи за куртку, а понесу я. Понял?

— Понял.

Арсений повёл их коротким путём, через соседний отсек котельной. За поворотом оказался второй завал, которого не было на схеме. Пока оттащивали плиту, пустую манжету Мазура раздавило между обломками. Пришлось вернуться и идти длинной лестницей. Раненых всё это время несли: Андрея с перебитой ногой и того, кто не пришёл в сознание.

Они вышли через одиннадцать минут: двое сами, двое на плечах, и Мазур шёл рядом и считал вслух — шаги, минуты, метры, — потому что человеку в темноте надо за что-то держаться.

Уже наверху Прохоров сказал ему коротко, как приказ:

— Ты выбрал короткую дорогу. Запомни: короткая дорога — это чужая жизнь, а не своя.

Он запомнил — и потом записал в тетрадь.

Наверху был день, камеры и двести человек.

Человек с микрофоном кричал в камеру:

— Вы это видели?! Вы это видели, друзья?! Ашка! Ашка держал четырёх! Тринадцатый сводный вытащил второй линейный из гнезда! Это первый случай в истории Лиги!

Трибуна орала.

Трибуна скандировала.

Не «тринадцатый» и не «Лига»: они кричали одно слово, и это слово было «ашка». Двести двадцать человек стояли у сетки и кричали «ашка, ашка», и один из них, мужик в ватнике, пролез под ограждением, подбежал и схватил Арсения за руку.

— Это мой сын, — сказал он. — Второй линейный, Дудник. Это мой сын. Спасибо.

Он говорил и тряс ему руку, и по его лицу шло что-то, чего Арсений не понимал. Арсений сидел на земле, у колеса машины, и его рвало.

Он не помнил, как пахнет кухня.

Голос матери он помнил — высокий, громкий, которым она звала его со двора, и слова «иди домой»; он проверил это там же, на земле, у колеса, и голос был на месте. Пропал запах: суп, лук, чугунная сковорода. Он знал, что запах был, — и не мог его достать.

Он сидел и держал в руках куртку, и по лицу у него шла кровь из носа, и он не чувствовал ничего.

К нему поднесли Дудника.

Тот самый, из второго линейного, — он лежал на носилках, у него была перебита нога, и он смотрел на Арсения так, как смотрят на человека, которого не могут понять.

— Ты меня вытащил, — сказал он.

— Вытащил.

— Ты ашка.

— Ашка.

— Я тебе в столовой говорил, что вы дохлые.

— Говорил.

Дудник помолчал.

— Я это всем расскажу, — сказал он. — Что ашка умеет.

Арсений взглянул на него и понял, что не помнит его лица.

Он его видел: вот оно, рядом, мальчишеское, с разбитой губой. И он не мог его запомнить: в голове было ровное, тёплое место, как на месте зуба.

— Как тебя зовут? — спросил Арсений.

— Дудник.

— Запиши мне, — сказал он.

— Что?

— Имя. На бумажке. У меня память плохая.

Дудник посмотрел на него, потом на Прохорова, потом опять на него, и достал блокнот — потому что все они носили блокноты, — и написал: «Дудник Андрей, второй линейный», и отдал листок.

— «Пламя» — наша бригада во втором линейном, — добавил Андрей. — А Дудник, который утонул с вами, — мой старший брат.

Арсений сложил листок и убрал в подкладку, рядом с фотографией матери и листовкой Любы.

* * *

Вечером в управлении их ждали.

Мазур вышел оттуда с бумагами и с лицом, которого Арсений у него не видел.

— Ну? — спросил Тимур.

— Очаг закрыт, — сказал Мазур. — Не нами: пока мы вытаскивали, тварь ушла вниз, и линейные закрыли трубу. Доля наша: ноль. Рейтинг: плюс сорок. Отзывов от зрителей — триста двадцать.

— И что плохого?

— Плохое в другом. — Мазур положил бумаги на стол. — В бумаге написано, что «применение способности неустановленного класса в зоне видимости гражданских лиц привело к раскрытию сведений особой важности». Тебя вызывают в институт. Не в управление — в институт.

Он посмотрел на Арсения.

— Завтра, к девяти. С вещами.

Тимур встал.

— Никуда он не поедет, — сказал он.

— Поедет, — сказал Мазур. — Потому что если не поедет, приедут с охраной, и тогда поедет вся казарма.

Он сел и стал раскладывать бумаги, как раскладывает человек, которому больше нечего сказать.

Арсений вышел на улицу.

Было холодно, и в окне второго этажа горел свет: там сидел человек, который писал про него бумагу.

Он достал тетрадь и записал, стоя:

«Третий выход. Очаг закрыт не нами. Я взял в коридоре, и меня видели двести двадцать человек.

Я не помню, как пахнет кухня. Голос матери проверил — на месте. На табличке каждый раз что-то одно. Но с летом пропало лицо Кожина, а теперь — Дудника. Я ещё не знаю, где кончается названная плата.

Дудник Андрей — я спас его и не помню его лица. Он написал мне имя на бумажке.

Завтра институт, к девяти. Значит, надо решить: ехать или бежать. Если бежать — куда.

Про Корону: Кира сказала, что из детей делают сосуд. Значит, в институте я могу узнать, кто носит её сейчас».

Он закрыл тетрадь и пошёл в казарму.

Глава 11. Ярцев

За двумя заборами, в сосновом бору Академгородка, стоял институт «Колодец» — три корпуса, стеклянная галерея, столовая с высокими окнами, клумбы. Он был похож не на институт, а на санаторий для тех, кого нельзя вылечить.

Арсения привезли в девять утра, и у ворот его встретила женщина лет шестидесяти, в белом халате поверх свитера, с линейкой в кармане.

— Ветлицкая, — сказала она. — Вера Львовна. Я тут тридцать лет меряю линейкой и пишу цифры. Пойдёмте.

Она шла быстро и говорила не останавливаясь.

— Мне вас отдали на три дня. Не на лечение и не на обучение: на осмотр. У нас есть приборы, у нас есть врачи, и всё, что мы будем делать, мы будем записывать. Вы согласны?

— А если нет?

— Тогда вас привезут в следующий раз с охраной, — сказала Ветлицкая. — Я вам говорю это прямо, потому что не люблю врать детям. Идите за мной.

* * *

Осмотр длился четыре часа.

Его раздели, приложили датчики, завели в комнату без окон и поставили в круг, нарисованный на полу мелом. Приборы щёлкали. Люди в халатах записывали.

— Мана, — сказала Ветлицкая, глядя в экран. — У вас её мало. Как у ашки. Странно: у вас на спине четвёртый уровень отметки.

— Что это значит?

— Это значит, что вы берёте не маной, а чем-то другим, — сказала она. — Покажите.

— Что показать?

— То, что вы делали в школе. Держите вот эту лампу, — она показала на лампу в центре круга. — Постарайтесь, чтобы она не погасла, когда я выключу свет.

— Не буду, — сказал Арсений.

— Почему?

— Потому что вы будете записывать.

Ветлицкая посмотрела на него и впервые за все четыре часа отложила линейку.

— А вы, я смотрю, быстро учитесь, — сказала она. — Хорошо. Не надо. Тогда я вам скажу то, что хотела сказать.

Она села на табурет.

— Я тридцать лет хочу закрыть Колодец, — сказала она. — И не могу. Он растёт. И знаете, что я поняла за эти тридцать лет? Что его нельзя закрыть снаружи. Его можно только отогнать — и только тем же способом, каким его позвали. То, что вы делаете на спине, ваша отметка — это не болезнь и не награда. Это печать того, кто позвал.

— Кто позвал?

— Те, кто спустился первым, — сказала Ветлицкая. — В пятидесятом году. Одиннадцать человек, которые хотели посмотреть, что там внизу, и не хотели спрашивать разрешения. Ваш отец был из них.

* * *

Ветлицкая вела его по галерее и говорила на ходу, не останавливаясь.

— У нас четыре объекта, — сказала она. — Первый умер в пятьдесят девятом на втором этапе. Третий — девочка, вы её знаете. Четвёртый — вы.

— Я не объект.

— Вы объект с шестьдесят шестого года, по записи отца, — сказала Ветлицкая. — Я говорю это не чтобы унижить, а чтобы вы понимали, куда пришли.

Она открыла дверь в одну из палат.

Там, на кровати, сидел мальчик лет десяти и смотрел в стену.

— Пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, — говорил он. — Пятьдесят семь.

— Это второй, — сказала Ветлицкая и закрыла дверь. — Он считает с семи лет. Когда он сбивается, счёт приходится начинать с начала, иначе он кричит.

— Его можно вылечить?

— Его нельзя, — сказала Ветлицкая. — Его можно только держать.

Она пошла дальше, и у окна в конце галереи остановилась.

— Корону надо на кого-то надеть, — сказала она. — Она лежит в Москве и звенит. Пока лежит — из Колодца выходит больше: в пятьдесят восьмом двадцать навых за год, в этом четыре тысячи. Считайте сами.

— И для этого нужен ребёнок?

— Для этого нужен носитель, — сказала Ветлицкая. — Носитель — это тот, у кого есть отметка. Отметку даёт Колодец. Колодец открыли мы.

Она посмотрела на него.

— Через три дня вы вернётесь в отряд и будете думать, что институт — зло. Институт — не зло. Институт — это цена. Плохо то, что платят её дети, а решали не дети.

В коридоре его ждала девочка.

Она сидела на подоконнике, в больничной рубаше и в пальто сверху, и кисти рук у неё были забинтованы, и она ела синт-пельмени из банки, выковыривая их ложкой.

— Громов, — сказала она. — Ну наконец.

— Кира.

— Садись. — Она подвинулась. — Тебя тоже смотрели?

— Смотрели.

— Записывали?

— Записывали.

— Тогда слушай, — сказала Кира и отставила банку. — Я тебе скажу то, чего тебе не скажет Ветлицкая, потому что она хорошая и ей стыдно, и не скажет Штерн, потому что он подлый и ему не стыдно. Тут делают сосуд.

— Для чего?

— Для Короны, — сказала Кира. — Корону сняли с Короля в пятьдесят восьмом. Она лежит в Москве, в хранилище, под стеклом. Она живая: она ищет того, на кого

можно сесть. Найти такого трудно: обычный человек от неё умирает за тридцать дней, а носитель — тот, у кого своя отметка, — может её держать.

Она показала на свою грудь.

— Я третья в программе. Первый умер на втором этапе. Второй сошёл с ума. Я третья. У меня песок в костях, и это не от Короны: это от того, чем меня готовят. Восемь процентов за месяц. Мне осталось меньше года.

Арсений молчал.

— Вот, — сказала Кира и вытащила из кармана пальто что-то маленькое. — Держи.

Это был жетон: круглый, серый, с выбитым номером.

— Три, — сказала она. — Мой номер. В программе я третья: первый был Юра, второй Марк, третий — я. Если тебя возьмут, ты будешь четвёртым.

Она повернула жетон.

— А в их тетради я пятая. Понимаешь? У них две нумерации: в программе мы объекты, а в учёте — носители. Я в одной третья, в другой пятая. Меня дважды посчитали, и ни в одном списке я не человек. Запомни это лучше номера. И когда меня наденут — а меня наденут, я знаю, — я хочу, чтобы хоть кто-то помнил, что был человек.

Арсений взял жетон и положил в подкладку.

— Почему я? — спросил он.

— Потому что ты забываешь, — сказала Кира. — Ты забываешь, и ты записываешь. Это хуже, чем помнить, и лучше, чем не помнить вовсе. Значит, держи.

* * *

Вечером он вернулся в казарму — за вещами.

Прохоров сидел на койке и чистил протез.

— Значит, институт, — сказал он.

— Институт.

— Скажи мне причину, — сказал Прохоров. — Одну. Настоящую.

— Там Кира, — сказал Арсений. — Ей меньше года. И там готовят к Короне. Я хочу узнать, кто носил её раньше.

Прохоров долго молчал.

— Тогда иди, — сказал он наконец. — Ты нам не принадлежишь. Ты вообще никому не принадлежишь, и это твоя беда, а не твоя сила. Слушай сюда, Четвёртый: в институте тебе будут давать бумаги и просить подписи. Никогда не подписывай то, что не прочитал до конца, и никогда не читай то, что написано мелко.

Он встал и положил протез на койку.

— И ещё. Ты мне сказал спасибо один раз, в Разломе. Больше не надо. Просто живи, и если тебя наденет то, про что ты говоришь, — приходи. Я тебя сниму. Обещаю.

Тимур помогал ему собирать вещи и всё время молчал.

Потом сказал:

— Я тебе дам одну вещь.

Он вытащил из кармана половину монеты.

— Мы с братом так делали, — сказал он. — Одна половина у него, одна у меня. Если что — приходишь и показываешь, и я знаю, что это ты. Держи. Ты всё забываешь, так что это тебе нужнее.

Арсений взял половинку и положил в подкладку. Теперь там лежали бумаги и два куска металла.

Гриша ничего не дал. Он стоял у двери и смотрел, и когда Арсений уже выходил, сказал:

— Ты вернёшься?

— Вернусь.

— Запиши, — сказал Гриша. — Ты всегда так говоришь.

Арсений остановился и записал при нём, на подоконнике:

«Вернусь. Гриша ждёт».

Ярцев приехал в институт на третий день.

Он вошёл в галерею в куртке без нашивок, и его аура вошла вместе с ним, как входит в комнату шкаф: плотно, тяжело, на всё пространство.

Он подошёл и сел рядом.

— Показали тебе Королеву? — спросил он.

— Корону.

— Корону, — согласился Ярцев. — Я её видел. В Москве, в хранилище, за стеклом. Она звенит, когда рядом носитель. Я стоял рядом с ней двадцать минут, и она звенела всё время.

Он замолчал и посмотрел в окно, на сосны.

— Твоя аура слишком пустая, — сказал он вдруг.

— Я прячусь.

— Плохо прячешься, — сказал Ярцев. — Мастера делают ауру скучной, но у них она живая: как мокрая тряпка, но живая. У тебя она мёртвая. Как у покойника, которого хорошо одели. Я такое вижу, потому что я на этом вырос.

— И что теперь?

— Пока ничего, — сказал Ярцев. — Я тебе скажу другое. Ты думаешь, что я твой враг.

— Не думаю.

— Думаешь, — сказал Ярцев. — Так вот: я не враг. Я хуже. Я — тот, кто тебя переживёт. Смотри.

Он поднял руку и расстегнул воротник.

Под ключицей у него шла тонкая чёрная линия — точно такая же, как у Арсения на спине, только одна, короткая.

— Мне двадцать два, — сказал Ярцев. — Я на букве Г с шестнадцати. За шесть лет я взял девять ходов. Знаешь, сколько я помню из своей жизни?

— Сколько?

— Ничего, — сказал Ярцев. — Я не помню мать. Я не помню, как учился. Я помню только работу, потому что работу я записываю. Я не человек: я — то, что осталось после человека, и это то, что от тебя хотят.

Он застегнул воротник.

— В институте тебе предложат остаться. Соглашайся. Тебя будут учить, и, может быть, выучишь ты то, чего не выучил я: как не брать. Больше я тебе ничего не скажу: я на службе.

Он встал и пошёл, и по его спине было видно, что он не устал, не боится и никуда не спешит.

* * *

Штерн нашёл его вечером.

Он был из «Яруса»: молодой, аккуратный, в очках, с папкой. Он не стал садиться и не стал ничего предлагать: он открыл папку, достал лист и положил на стол.

Лист был старый, серый, с машинописью, и на нём стояло:

«Список группы второго спуска. 2051 год. Громов И. П. — руководитель. Приписка: +1. Громов А. И., г. р. 2066».

Арсений прочитал это дважды.

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, — сказал Штерн, — что вас записали в шестьдесят шестом году. За четыре месяца до рождения. Ваш отец вписал в список «+1» — то есть одного будущего ребёнка.

Он закрыл папку.

— Мы вас не берём, Громов. Мы вас получаем. Вы в программе с рождения: сначала как «плюс один», потом как объект. Номер у вас четвёртый.

— В учёте Кира пятая, — сказал Арсений.

— В учёте, — сказал Штерн. — В программе у Киры третий номер. Четвёртый — вы.

Он пошёл к двери.

— Завтра вы переезжаете. Комната в третьем корпусе, врач, обучение, сорок тысяч в год. Откажетесь — останетесь в отряде, и я не буду вам мешать. Но вы придёте сами: потому что здесь девочка, у которой меньше года, и потому что здесь знают о КОРОНЕ.

Дверь закрылась.

* * *

Перед отъездом он зашёл в медпункт.

Вэй ждала его: на столе лежали бинт, жгут, ампула и игла.

— Садитесь, — сказала она. — Учиться.

Она учила его два часа: как накладывать жгут, когда нельзя, как остановить кровь из бедра, как понять, что человек умрёт, если его нести, и как решить, кого нести первым.

— Запомнили? — спросила она в конце.

— Записал, — сказал Арсений.

— Вот и хорошо, — сказала Вэй. — Я вам скажу одну вещь на прощание. Вы теперь будете сильным. Сильные не умирают от тварей, они умирают от того, что их любят. Держитесь тех, кто вас любит, и не отдавайте их, когда вас попросят.

Она завязала ему сумку.

— И вот ещё. Если вас будут пытаться в институте — а вас будут: там не пытаются больно, там пытаются тем, что обещают, — говорите только то, что есть в бумаге. Всё остальное — ваше.

Ночью Арсений сидел в своей комнате института и писал.

«Институт, третий корпус. Камера наблюдения в углу, я её вижу.

Кира: жетон „3“. В программе — третий объект, в тетради учёта — пятая. Песка больше на восемь процентов. Ей меньше года. Если на неё наденут Корону, она может умереть. Или от неё останется только сосуд.

Ярцев: девять ходов за шесть лет. Не помнит матери. Говорит: в институте меня будут учить, как не брать. Верить ему? Он не враг. Он хуже: он тот, кто меня переживёт.

Штерн: список 2051 года. „+1. Громов А. И., г. р. 2066“. Отец вписал меня до рождения. Значит, я не человек, а строка, которую завели заранее.

Решение: остаюсь. Потому что здесь Кира и здесь занимаются Короной. В отряде я ничего не узнаю.

Что сказать Прохорову: сказать правду. Он всё равно узнает.

Отметка: сто двенадцать миллиметров. Болит. Вэй сказала: ест чувства. Значит, надо каждый день записывать, что я чувствую, пока есть чем».

Глава 12. Рейд

Ачинск стоял в тумане третий год.

Арсений увидел его с сопки, из кузова машины: городок, две трубы, район из пятиэтажек, и над районом — молоко. Не туман и не дым: плотное, белое, тёплое, оно стояло над Заводской улицей и не двигалось, и в нём не было видно ни окон, ни крыш, только верхние этажи, как мачты.

— Двести четырнадцать ещё внутри, — сказал Мазур, глядя туда. — Из первоначальных двухсот пятнадцати. Три двора. В семьдесят девятом написали «вывезено».

— А вывезли одного, — сказал Арсений.

— Одного.

Он приехал сюда уже не как боец тринадцатого.

С апреля он жил в институте, в третьем корпусе, и учился: утром — приборы, днём — зал, вечером — Ветлицкая с линейкой. Институт дал ему то, чего не дала Лига: его учили прятать ауру, держать ману и считать своё время. Он стал сильнее и научился не показывать этого — совсем, так, что даже Айсен, который приезжал с проверкой, написал в отчёте: «динамики нет».

А в мае пришла бумага: «Объект четвёртый направляется в Ачинск в составе сводной группы Лиги в качестве наблюдателя-счётчика».

В кузове по дороге Тимур разложил на колене схему, нарисованную от руки.

— Значит, так, — сказал он. — Я вперёд, Гриша за мной с баллоном, Кира сбоку, Мазур у рации, Вэй в середине.

— А я? — спросил Арсений.

— А ты ничего, — сказал Тимур. — Ты смотришь и говоришь. Мне Мазур объяснил: если ты полезешь драться, то толку от тебя как от меня в танце.

— Я не танцую.

— Я тоже, — сказал Тимур. — Поэтому и говорю.

Гриша сидел напротив и держал баллон на коленях, как держат ребёнка.

— Гриша, — сказал Арсений. — Баллон посередине, а не на коленях. Если рванёт — осколки в ноги.

— А если не рванёт?

— Тогда не рванёт.

— Понял, — сказал Гриша и переложил баллон.

Вэй проверяла сумку и говорила вслух, что в ней лежит:

— Жгут — два. Бинт — четыре. Кровоостанавливающее — шесть. Обезболивающее — четыре. Отдельно: холодная вода, соль, шоколад. Шоколад — не для раненых. Шоколад для меня, потому что я боюсь.

— Ты боишься? — спросил Мазур.

— Все боятся, — сказала Вэй. — Просто некоторые считают.

Его поставили к майору, который командовал сводной, и майор посмотрел на него, как смотрят на вещь из института.

— Наблюдатель, — сказал он. — Значит, так: не путаться под ногами, не командовать, не разговаривать. Увидишь что — говори мне, и только мне.

— Понял.

— И вот ещё, — сказал майор. — Смотри внимательно, мальчик. Сегодня большая работа: объект класса В, туман подошёл к четвёртому двору. Мы его закроем.

— А люди?

Майор посмотрел на него.

— Какие люди?

* * *

Он увидел их вечером, с крыши пятиэтажки, вместе с Прохоровым.

Прохорова прислали сюда же — тринадцатый был в сводной, и в сводной их опять поставили в тыл, потому что так было написано в бумаге, а в бумаге тринадцатый всегда стоял в тылу.

Арсений смотрел в туман и видел.

В молоке, в глубине, в трёх дворах, стояли двести четырнадцать тёплых точек. Они были слабые, ровные, и они двигались: медленно, как двигаются люди во сне.

— Они живые, — сказал он.

— Знаю, — сказал Прохоров.

— Он хочет закрыть вместе с ними.

— Знаю, — сказал Прохоров. — Я это видел один раз. В семьдесят девятом. Тогда закрыли вместе с сорока.

Он посмотрел на город.

— Что ты предлагаешь?

Арсений молчал.

Он не знал, что предлагать. У него не было ни класса, ни отряда, ни права. У него был счёт и четыре бумаги в подкладке.

— Я не знаю, — сказал он.

— Тогда слушай, — сказал Прохоров. — Я тебе скажу одну вещь, которую мне сказал мой командир. В сводной группе командует тот, кто знает, что делать. Не тот, у кого звание. Если ты знаешь — говори. Если не знаешь — молчи и делай, что говорят.

Он пошёл к лестнице.

— И вот ещё. Сегодня ночью у тебя, кажется, будет шанс узнать.

* * *

Шанс пришёл в четыре утра.

Приказ был простой: сводная входит в туман с двух сторон, ставит манжеты по периметру, выжигает очаг и уходит. Людей внутри — не выводить: не хватает времени и людей, а туман к шести утра дойдёт до четвёртого двора.

Арсений стоял у машины и слушал, как майор говорит в рацию: «Работаем по протоколу, потери не считаем, время — до шести».

Потом он поднялся на крышу и посмотрел в туман ещё раз.

Он увидел, что точки не спят. Двести четырнадцать человек стояли, и часть из них шла — держась за стены, за перила, друг за друга, — и все они шли в одну сторону: к краю тумана, к тому месту, где была граница, за которой начиналась улица, свет и воздух.

Они выходили сами.

Они шли медленно, потому что туман держал, и тем, кто ближе к краю, оставалось метров двести. Но они шли.

Арсений сбежал по лестнице.

— Майор!

— Я сказал: не путаться.

— Они выходят, — сказал Арсений. — Двести четырнадцать, они идут к границе, им двести метров. Если мы поставим манжеты по периметру, мы их запряём.

Майор посмотрел на него долго.

— По протоколу, — сказал он, — объект закрывается в течение ночи. Если мы начнём выводить, туман дойдёт до города, и тогда мы потеряем не двести четырнадцать, а четыре тысячи. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— И?

— И я знаю, как вывести их за два часа, — сказал Арсений.

Он не знал. Он сказал это и сам удивился, потому что слова вышли ровно, как чужие, — так же, как тогда, на комиссии.

Майор молчал.

— Покажи, — сказал он наконец.

Арсений развернул на капоте карту.

— Манжеты — не по периметру. Манжеты — в трёх точках: здесь, здесь и здесь. Это держит туман, но оставляет коридор. По коридору идут люди: вот отсюда, через двор, вдоль дома. Мы ставим на выходе двух линейных с баллонами и одного мага — на границе, чтобы туман не пошёл дальше. Если туман всё-таки пойдёт, маг выжигает коридор, и мы теряем тех, кто внутри, но не теряем город.

— А кто пойдёт внутрь? Кто поведёт людей?

— Я, — сказал Арсений.

Майор смотрел на него.

— Тебе четырнадцать.

— Мне четырнадцать, — согласился Арсений. — И я вижу их всех. Каждого.

— Ты кто такой? — спросил офицер, стоявший рядом. — Ты из института. Наблюдатель. Тебе четырнадцать лет.

— Четырнадцать.

— И ты предлагаешь командовать сводной группой.

— Я предлагаю вывести людей, — сказал Арсений. — Командовать будет майор. Я буду считать.

— Это бред, — сказал офицер. — По протоколу объект закрывается.

— По протоколу, — согласился Арсений. — В семьдесят девятом по протоколу закрыли очаг вместе с сорока людьми. Мы сейчас стоим на том же месте, где стояли они.

Офицер открыл рот, чтобы ответить, и не ответил, потому что майор поднял руку.

Майор молчал долго — так долго, что в рации уже начали спрашивать.

Потом он снял с себя рацию и протянул её Арсению.

— Держи, — сказал он. — Если провалишь — я тебя отдам под трибунал и посажу сам. Если выведешь — я напишу в бумаге, что это была моя идея. Потому что иначе бумага не пройдёт.

* * *

Перед входом майор построил их и сказал речь — короткую, как все речи, которые говорят перед тем, как послать людей.

— Работаем по коридору. Кто отстал — того не ждём. Кто упал — того выносит тот, кто рядом. Кто побежал — тот сдох.

— А если там дети? — спросил Гриша.

Майор посмотрел на него.

— Дети там с семьдесят девятого, — сказал он. — Мы выводим живых.

— Это одно и то же, — сказал Гриша.

— Нет, — сказал майор. — Это не одно и то же. Живой может идти сам, а ребёнка надо нести. У нас нет рук на детей.

Арсений шагнул вперёд.

— У нас есть, — сказал он. — Я понесу.

— Ты? — майор посмотрел на него, на его руки. — Тебе четырнадцать.

— Мне четырнадцать, — сказал Арсений. — И я вижу их всех. Каждого. И я сказал: сначала люди.

Майор молчал секунды три. Потом посмотрел на Тимура.

— Он всегда такой?

— Всегда, — сказал Тимур.

Он вошёл в туман третьим и остановился на секунду, потому что нужно было привыкнуть: здесь счёт шёл иначе.

— Держимся за верёвку, — сказал он. — Верёвка — жизнь. Кто отпустил — тот умер.

— Понял, — сказал Тимур. — А если верёвка кончится?

— Значит, мы дошли до места, где её надо привязать к кому-то.

— К кому?

— К тебе, — сказал Арсений. — Ты тяжёлый.

Тимур хмыкнул.

— Мне нравится, как ты командуешь, — сказал он. — Ты говоришь гадости, но по делу.

Внутри тумана было тепло и тихо.

Арсений прошёл вперёд. За ним шли пятеро: Тимур, Гриша, Прохоров, Вэй с сумкой и Дудник-младший на костыле, потому что отказался остаться. Другой огненный маг ждал снаружи.

— Маг, ты на границе, ты не идёшь.

— Я не пойду в туман, — сказал маг. — Я его боюсь.

— Правильно, — сказал Арсений. — Стой на границе и жги, если пойдёт. По моему сигналу «Печью» накрой выход: купол, три метра, чтобы туман в него не входил. Сколько у тебя на купол?

— Минут восемь, — сказал маг. — Потом кончаюсь.

— Значит, восемь.

Он посмотрел в туман и сказал остальным:

— Слушайте, что здесь живёт. Ни Сора, ни Служки. Молчальник, Гонец третьего ранга: он не убивает, он пасёт. Он ходит в тумане и собирает людей, как пастух собирает овец: тех, кто слаб, ведёт к дому, а дом — это его горло. Двести четырнадцать человек — это то, что он уже проглотил и держит внутри.

— Как его бить? — спросил Тимур.

— Тело у него есть, но видно его только мне: белое, тонкое, руки — крюки, а под левой рукой — узел. В узел стягивается туман, которым он держит людей. Пока узел цел, он их не отпустит.

— А почему он не бьёт? — спросил Гриша.

— Потому что ему не надо, — сказал Арсений. — Он говорит.

Маг не понял.

— Как говорит?

— Через туман, — сказал Арсений. — Если услышишь, что стало тихо, — не стой. Тишина — это он. Он шепчет, и тот, кто слышит, идёт к дому. Вэй, — он повернулся к лекарю, — ты это умеешь?

— Умею, — сказала Вэй. — «Чистое поле»: на десять метров у людей в голове становится тихо, чужого шёпота не слышно. Держу минуту, потом падаю.

— Держи минуту, когда скажу.

Она кивнула и впервые посмотрела на него не как на пациента.

— Ты не забываешь командовать, — сказала она. — Это в тебе от Дао.

— Это во мне от Кожина, — сказал Арсений.

Он считал.

Он считал всё: двести четырнадцать точек, из них сорок восемь слабых, одиннадцать почти пустых, три лежачих. Он считал коридор: триста метров до второго двора, двести до выхода, шестьдесят до границы. Он считал своих: шесть человек, две руки, одна нога из вязи, один баллон и полтора резервуара маны на всех.

На втором дворе он увидел старуху.

Она сидела на скамейке, в тумане, в пальто и в платке, и держала на коленях кошку.

— Бабушка, — сказал Арсений. — Пойдём.

— Куда?

— На улицу.

— А кошка?

— Кошку берите, — сказал он. — Тимур, возьми кошку.

— Я танк, — сказал Тимур.

— Ты теперь носильщик, — сказал Арсений. — Бери кошку и веди бабушку.

Он говорил и удивлялся себе: голос был ровный, чужой, спокойный. Он не боялся. Он вообще ничего не чувствовал: только числа.

Из второго двора вышел человек.

Он был в майке, без куртки, и шёл против движения — не к выходу, а к дому.

— Стой! — сказал Арсений. — Тебе туда нельзя.

— Там мать, — сказал человек.

— Мы её выведем.

— Она не ходит. Она лежит.

Арсений посмотрел в туман и увидел: в доме номер девять, на втором этаже, горела слабая, дрожащая точка.

— Тимур, — сказал он. — За ним. Второй этаж, дом девять.

— Я его не найду в тумане, — сказал Тимур.

— Найдёшь. Я буду считать вслух, а ты иди на счёт.

Тимур пошёл в туман, и Арсений стоял и считал: «раз, два, три», — и танк шёл по этому счёту, как идут по верёвке. Через четыре минуты он вернулся: он нёс женщину на руках, а за ним шёл сын и держал его за куртку.

— Двадцать два, — сказал Тимур. — Никогда не думал, что буду ходить по счёту, как слепой.

— Ты и ходил как слепой, — сказал Арсений. — Помнишь?

— Помню, — сказал Тимур и замолчал.

Они вывели первый двор, потом второй: сто сорок восемь человек. На третий осталось шестьдесят шесть.

На третьем дворе стало тихо.

Он не напал и не закричал: пропал звук. Ушёл шорох шагов, ушло дыхание, ушёл стук — остался ровный, мягкий вакуум, в котором слышно собственное сердце.

— Вэй! — сказал Арсений.

— Держу! — сказала Вэй, и от неё пошло тепло, широкое, как круг на воде: «Чистое поле». У Дудника на костыле задрожали руки и перестали; у Гриши из носа пошла кровь, но он не пошёл к дому.

А потом в тумане, в двенадцати метрах, встал он.

Молчальник был в три человеческих роста и тонкий, как жердь: туман в нём не расходился, а спрессовался — мокрый, серый, живой, — и там, где его тело касалось воздуха, воздух мокрел и стекал. Руки у него были длинные, ниже колен, и заканчивались не кистями, а крюками, загнутыми внутрь, — такими, какими берут за шиворот. Лица не было: гладкое место, на котором туман шёл кругами.

Он не шагнул. Он потек вперёд, и там, где он тёк, туман перед ним ложился на землю, как ложится трава.

И Арсений увидел узел — под левой рукой, под мокрой серой плетью: белый, плотный, размером с голову, к нему стекался туман из третьего двора, где ещё оставались шестьдесят шесть человек.

На третьем дворе туман нажал.

Он не напал: он уплотнился, и в нём появилось то, чего Арсений ждал с самого начала, — тёплое, длинное, без формы. Оно шло по дворам, как идёт вода по каналу, и оно собирало людей: медленно, аккуратно, в одну точку, к дому номер четырнадцать.

— Прохоров, — сказал Арсений в рацию. — Оно собирает их в доме.

— Сколько там?

— Шестьдесят шесть.

— Тогда решай, — сказал Прохоров. — Мы не успеваем.

План дал Мазур — он считал быстрее всех и никогда не спорил зря.

— Оно тянет их к дому, — сказал он. — Дом — это горло. Если мы поставим пять манжет не вокруг людей, а вокруг дома, мы пережмём горло, и туман начнёт давиться. Он их не отдаст, но ему станет не до них.

— А если не сработает?

— Тогда мы потеряем пять манжет и всё равно пойдём за людьми, — сказал Мазур. — Другого плана у меня нет, а у тебя?

Другого не было.

Три точки уже держали коридор: две пары манжет у боковых стен и пятая у входа в дом. Двое линейных с границы подошли к двери и подхватили носилки. За дверью стояли те, кто ещё мог идти; лежащие оставались в глубине.

Арсений стоял в тумане и считал: шестьдесят шесть человек в доме, один коридор, шестьдесят метров до выхода, двадцать минут до рассвета.

— Тимур, стену поперёк! — крикнул Арсений. — От угла до угла, держи до последнего, потом падай.

Тимур выставил руки — и воздух между ним и Молчальником стал мутным, как слюда: «Стена». Молчальник тёк в неё и не проходил; стена прогибалась, и по ней шла трещина, тонкая, как волос, и Тимур считал вслух:

— Десять... восемь... шесть...

— Гриша, за ним линию! — сказал Арсений. — Как в коллекторе!

Гриша поднял баллон одной рукой и пустил холод: белая пыль легла на асфальт полосой в двадцать метров, и в этой полосе туман встал — замёрз, стал плотным, как вата. Молчальник ткнулся в холод и отступил на шаг.

— Маг! — сказал Арсений в рацию. — Печь на выход!

На границе тумана вспыхнул купол: круг огня в три метра высотой, и в нём сразу стало видно воздух. Маг стоял в середине и держал, и его руки уже были красные по локоть.

— Вэй, — сказал Арсений, — Тимур сейчас ляжет.

— Знаю.

Тимур осел на асфальт; Стена осыпалась, и из носа у него шла кровь. Молчальник пошёл на него — и Вэй успела: она положила ладонь ему на грудь, и от ладони пошло тепло, тонкой струёй, «Затягивание». Она тянула рёбра Тимура и одновременно держала «Чистое поле», и от этого у неё самой плыли глаза.

— Не смей, — сказала она Арсению, не оборачиваясь. — Ты командуешь.

Молчальник обошёл холод по краю двора: он не лез в полосу, он её обтекал, как вода обтекает камень. И тогда Арсений понял, что тот, кто пасёт двести четырнадцать человек, тоже считает.

Он не мог вывести всех шестьдесят шесть. Своим ходом до коридора успеют сорок; остальных придётся нести.

Он закрыл глаза и открыл Дао.

— Ход пятый, — сказал он вслух. — Дай мне то, что нужно.

Надпись пришла сразу, и она была короткая.

ХОД ПЯТЫЙ. ВЗЯТО: ПРИГОВОР. УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ. ОДНА ЦЕЛЬ. ЦЕНА: МАТЬ.

Он прочитал это и не почувствовал ничего.

Он не помнил, что такое мать. Он знал слово; он знал, что мать погибла в семьдесят шестом, что она выносила детей из школы вместе с отцом и что у неё был голос; но лица у слова не было, и тепла у слова не было тоже.

— Бери, — сказал он.

И в тумане, в доме номер четырнадцать, то, что собирало людей, остановилось.

Он не увидел этого — он почувствовал: пятно жара на спине, под левой лопаткой, стало широким, как ладонь, и от него пошло наружу то, чего Арсений не мог назвать словом: не мана, не сила — приказ. Он сказал не голосом: «стой». В десяти метрах от него Молчальник замер, наклонившись вперёд. С его серых плетей ещё падали капли; пыль в воздухе продолжала кружиться.

Арсений держал его и считал вслух, потому что иначе нельзя:

— Один... два... три...

Стена у Тимура уже лежала на земле. Гришин холод кончился. Маг в куполе стоял на коленях, и его купол стал тонким, как мыльный.

— Двадцать один... двадцать два...

Люди из дома номер четырнадцать шли мимо него: сначала мужчина с девочкой на руках, потом три женщины, потом старик, которого вели под руки, потом ещё, и ещё, и никто из них не понимал, что их ведёт по улице мальчик, который стоит в тумане и считает до сорока.

Приказ держался, пока он считал. Тридцать. Тридцать пять. Сорок.

За эти сорок секунд сорок человек прошли из дома в коридор; ещё восьмерых вынесли на руках. До границы они добрались уже под огненным прикрытием. В глубине оставались восемнадцать: проход к ним схлопывался вместе с горлом.

Потом туман пошёл на них.

Он пошёл весь сразу: не туманом, а валом, и в валу шёл Молчальник, и его крюки были уже подняты.

Маг, державший Печь на границе, сделал то, чего от него не ждали. Он шагнул из купола к проёму, встал в проёме между двумя домами и разжал руки.

— «Столб огня», — сказал он.

И из земли ударил столб: не шар, не искра — столб, от асфальта до неба, шириной в два метра, и рядом второй, и третий, и огонь пошёл по границе, как идёт по бикфордову шнуру, и за ним оставалась стена: белая, густая, в которой плавился песок.

Туман остановился.

Он остановился, потому что не мог пройти сквозь огонь, и он стоял и смотрел на них из-за стены, и в его гладком лице шли круги.

Молчальник ушёл в туман — и на третьем шаге осел: огонь сжёг ему ноги. Узел под левой рукой был цел.

Маг с границы упал на асфальт и больше не встал: руки у него были сожжены до локтей, брови и ресницы сгорели, и когда Вэй подбежала к нему, он ещё держал «Печь» — уже пустую, уже ни на что не годную, — но держал, потому что не знал, что уже можно не держать.

* * *

Из тумана вышел человек и сел на асфальт рядом с носилками.

Ему было лет шестьдесят; он был в пижаме и в чужом пальто, и он долго смотрел на Арсения, а потом спросил:

— Вы кто?

— Мы отряд.

— А почему не в форме?

— Мы не по форме, — сказал Арсений. — Мы по людям.

Старик кивнул и посмотрел на небо.

— Я тут с семьдесят девятого, — сказал он. — Я в тумане всё это время. Мы там ходили по кругу и не знали, сколько прошло. У нас одна женщина считала дни по свечке. Свечка кончилась — она стала считать по себе.

— Вы вышли, — сказал Арсений. — Сто девяносто шесть.

— А сколько осталось?

Арсений не ответил.

— Понял, — сказал старик. — Тогда я вам скажу одну вещь, сынок. Вы нас вытащили, и я вам за это благодарен. Но я вам за это и не верю.

— Почему?

— Потому что я всё это время слушал, как вы про нас говорите, — сказал старик.

— Вы говорили «двести четырнадцать» и «потери». А я в тумане был Игнатом Семёновичем. Запомни это, если у тебя есть где записать.

Арсений достал тетрадь и записал: «Игнат Семёнович. С семьдесят девятого в тумане. Считал дни по свечке».

К шести утра над Заводской стало светло.

Из тумана вышли сто девяносто шесть человек. Восемнадцать остались внутри: до них не успели добраться, прежде чем проход сомкнулся.

Манжеты поставили в трёх точках, и очаг не закрыли — его заперли, и майор написал в бумаге: «Объект локализован, вывезено сто девяносто шесть, потери — восемнадцать, операция выполнена».

Арсений сидел на борту машины.

Он держал в руках фотографию: маленькую, серую, где женщина в платке держит двух мальчиков. Он носил её в подкладке, вместе с жетоном Киры, половиной монеты Тимура и бумажкой Дудника.

Он смотрел на фотографию и не понимал, кто на ней.

Он знал: женщина — это мать, мальчики — это он и Мирон. Он знал это по записям: он сам написал однажды: «Мать в платке, я слева, Мирон на руках».

Он не помнил ни её лица, ни её рук, ни того, как она держала брата.

К нему подошёл Прохоров и сел рядом.

— Ты их вывел, — сказал он.

— Сорок восемь из третьего двора.

— Сто девяносто шесть.

— Восемнадцать остались, — сказал Арсений. — Я мог взять больше. Я не взял, потому что цена была — мать, а я не знал, что это дорого. Теперь знаю: это было дорого, и я этого не почувствовал.

Прохоров молчал.

— Ты знаешь, что самое плохое? — сказал Арсений. — Я не жалею. Совсем. Я смотрю на фотографию и не жалею. Я просто отмечаю: было — стало.

Прохоров забрал у него фотографию, посмотрел на неё и вернул.

— Ты знаешь, почему я тебя не убью? — сказал он. — Потому что тетрадь. Пока ты пишешь, ты человек. В тот день, когда ты не запишешь, — приходи ко мне, и я сделаю то, что обещал. Так что пиши.

Он встал и пошёл к машинам.

Через час пришёл майор.

Он сел рядом, посмотрел на туман и сказал:

— Я тебе обещал и сделал. В бумаге написано: «Командир сводной группы принял решение о выводе населения». Моя фамилия, моя подпись. Твоей в бумаге нет.

— Спасибо.

— Не благодари, — сказал майор. — Я двадцать два года в Лиге, и это первая операция, за которую мне не стыдно. Но я скажу тебе то, чего ты не знаешь. У Штерна есть отдельная папка: «объекты с проявленной функцией». В ней семь фамилий за тридцать лет. Двое умерли, трое в палате, один ушёл за шов, седьмой — Ярцев.

Он встал.

— Поздравляю, наблюдатель. Тебя будут брать на всё, где надо кого-то спасать. Наградой тут не пахнет: это работа, за которую платят чужой памятью, и однажды тебе придётся спасать тех, кого спасти нельзя.

Он пошёл к машинам.

Ночью он вернулся к туману один.

Он никому не сказал: ни Прохорову, ни Мазуру, ни Вэй. Он просто встал, когда все спали, и пошёл по Заводской к третьему двору, где туман стоял до сих пор — запёртый манжетами, тёплый, живой.

Он знал, что ищет. В двух метрах от границы, в мокром асфальте, лежало то, что осталось от Молчальника: он ушёл в туман и не ушёл — огонь сжёг ему ноги, и он осел у стены, и в нём ещё шло тепло. По ту сторону тумана, в глубине дома номер четырнадцать, оставались восемнадцать слабых человеческих точек. Здесь, у стены, лежала только тварь.

Арсений сел рядом на корточках.

Он не знал, как это делается, и никто ему не сказал бы: в Лиге этого не делают, в институте об этом не пишут, а в церкви, куда его водила тётя Полина, сказали бы, что так делать нельзя.

И тогда Дао попросило ещё.

Надпись пришла в темноте, короткая, как приказ:

ВТОРАЯ ЦЕНА. ХОД ПЯТЫЙ НЕ ЗАКРЫТ. ЦЕНА: МИРОН.

Арсений сидел на корточках у мёртвой туши и читал это.

— Нет, — сказал он.

Надпись не изменилась.

— Нет, — сказал он громче. — Ты взяло мать. Ты взяло голос отца. Ты взяло лето. Больше не будет. Слышишь? Бери что хочешь, но брата не будет.

Он сказал это и понял, что говорит с тем, что не слышит.

А потом надпись сменилась — и он прочитал то, чего не ждал.

ЕСТЬ ДРУГАЯ ЕДА. Я ЗНАЛО.

Он сидел и смотрел на эти слова, и в том месте, где стояло число, было ровно, как в стене.

— Ты знало, — сказал он. — С самого начала знало.

ЗНАЛО.

— И молчало.

ТЫ БЫ ПЛАТИЛ МЕНЬШЕ. Я ЕМ ТО, ЧТО ДАЮТ.

Он не закричал и не заплакал. Он стал холодным — и это было первое, что он в себе заметил: не обида и не злость, а именно холод, ровный и удобный, как инструмент.

— Тогда слушай, — сказал он. — С этого дня ты не получишь от меня ни одного близкого. Еду я буду приносить сам. Ты будешь есть то, что я дам, и молчать.

ТОГДА ПЛАТИ БЫСТРО. ВТОРАЯ ЦЕНА ПРИДЁТ ЧЕРЕЗ ДВЕ МИНУТЫ.

Он открыл Дао — не внутрь, а наружу.

И Дао взяло.

Оно не рвало и не грызло: оно пило. От серой туши пошла тонкая, как паутина, струя — серое, тёплое, без имени, — и внутри, там, где стояло число, стало сыто и горячо. Остаток души твари уходил в него, как вода уходит в сухую землю, и Арсений сидел и держал ладони на мокром, и его трясло.

Надпись пришла в темноте, короткая, без чувства:

КОРМ ПРИНЯТ. ЗАКРЫТО ХОДОВ: ОДИН.

Дао сказало это впервые с удовольствием — и сразу оговорило:

«Один корм — один оплаченный ход. Съеденное не возвращается. Этим кормом ты заменил цену пятого хода; прежние цены остались. Для следующего выбора принеси ещё». ВОЗВРАТ: МАТЬ.

Он не понял сначала.

А потом понял: на фотографии, в подкладке, женщина в платке подняла голову. Он увидел её лицо — то самое, с двумя морщинами у рта, — и увидел, как она держит Мирона, и как Мирон тянет руку к её платку, и как она смеётся.

Он сидел на асфальте, в двух метрах от тумана, и плакал — в первый раз с Разлома.

Надпись сменилась.

УСЛОВИЕ. КОРМ ЕСТЬ — ПАМЯТЬ ЦЕЛА. КОРМА НЕТ — БЕРУ ПАМЯТЬ. ЗА КАЖДЫЙ КОРМ — МИЛЛИМЕТР. КОРМ ДАЁТ УМЕНИЕ ТВАРИ. ОДНО. КОРОТКОЕ.

— Миллиметр, — сказал он вслух. — Что это?

ОТМЕТКА. ОНА РАСТЁТ НЕ ОТ СИЛЫ. ОНА РАСТЁТ ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ ЕШЬ.

Он ещё не знал, что после кормления отметка продолжит расти во сне.

Тогда Дао заговорило с ним — не словами, а ровно, как говорят бумаги.

«Ты не человек, — сказало оно. — Ты дверь. Мне нужна еда, тебе нужна сила. Еду приноси сюда, а не в себя».

— А если не принесу?

«Тогда я буду есть тебя. Всегда ем тех, кто ничего не приносит».

Арсений сидел и смотрел на туман.

— Кто ты? — спросил он.

«Я то, что осталось от того, кто был здесь до тебя. Спрашивай меньше. Приноси больше».

— Кто был до меня? — спросил он.

«Тот, кто не удержал, — сказало Дао. И добавило, тише: — Ты держишь меня крепче, чем думаешь. Это ненадолго».

Арсений тогда не понял этих слов. Он вспомнит их через месяц, ночью, в третьем корпусе института.

Он встал и посмотрел на свои руки.

Он должен был что-то чувствовать: гадливость, стыд, злость на то, что его обманули. Он проверил, как проверяют температуру, — внутри было ровно и холодно.

Он записал это в тетрадь, вернувшись, — на следующее утро, на холоде, сидя на борту машины:

«Ачинск. Вывел сто девяносто шесть. Восемнадцать остались в тумане. Я мог бы вывести больше, но взял пятый ход и потратил его на сорок секунд.

Цена была — мать. Ночью я скормил Дао то, что осталось от Молчальника, и Дао вернуло её. Я видел её лицо. Я плакал. Потом перестал — и не понял, почему так быстро.

Главное: Дао ЗНАЛО про другую еду с самого начала и молчало, чтобы я платил памятью. Я разозлился и не почувствовал злости. Значит, оно ест уже не память, а то, чем я злюсь.

Правило: цена приходит не сразу, а тем, что перестаёшь замечать. Второе правило: платить можно не собой — у твари после смерти остаётся серое. Дао берёт.

Значит, чтобы остаться собой, надо охотиться. И кормить его тайком: в Лиге этого не делают, в институте за это заберут, а Люба из Хора за это перестанет со мной разговаривать.

Мазур сказал: спонсор даст денег. Майор написал про меня в бумаге. Штерн прислал сообщение: „Хорошо. Нам нужен командир“.

Значит, они меня готовят. Не к Короне — к чему-то до Короны.

Кира: я отдал ей половину печенья. Она засмеялась. Я не помню, как звучит смех, но помню, что записал: она засмеялась».

Глава 13. Свои

Бумага лежала на столе у Штерна, и в бумаге было написано:

«Разрешить объекту четвёртому сформировать экспериментальный сводный отряд численностью до шести полевых специалистов при наблюдателе-счётчике из личного состава классов А и Б, не имеющего перспективы распределения. Отряд используется для закрытия очагов низкой и средней сложности. Результаты — в отчёт».

— Читайте внимательнее, — сказал Штерн. — Последнюю строку.

Арсений прочитал.

— «Результаты — в отчёт», — сказал он.

— Это значит, что вас будут смотреть, — сказал Штерн. — Каждый выход, каждое слово, каждая цифра. Вы мне интересны не как спасатель, а как случай: у нас семь таких, как вы, за тридцать лет, и ни один не собрал отряд. Люди боятся тех, кто берёт.

— Тогда зачем разрешаете?

— Потому что если вы соберёте, — сказал Штерн, — я получу ответ на вопрос, который стоит у нас с пятьдесят первого года. Вопрос простой: можно ли доверять носителю людей.

Он подал бумагу.

— Список пишите сами. Шесть специалистов при вас. Я подпишу всё, кроме одного: Волкову я вам не отдам.

Арсений поднял голову.

— Почему?

— Потому что она — программа, — сказал Штерн. — Она третий объект, у неё меньше года, и её готовят к Короне. Если вы её возьмёте в отряд, она будет ходить по подвалам вместо подготовки, а потом её всё равно наденут. Это не жестокость, это расписание.

— А если я подпишу? — спросил Арсений.

Штерн посмотрел на него.

— Что вы подпишете?

— Всё, что нужно, — сказал Арсений. — Я подпишу участие в испытаниях. Я подпишу, что надену её сам, если дойдёт. Я подпишу, что не буду отказываться.

Он сказал это ровно, как говорил всегда, когда слова выходили чужими, и Штерн молчал секунды пять.

— Вы понимаете, что это значит? — спросил он.

— Понимаю, — сказал Арсений. — Это значит, что вы получите носителя добровольно. А это дороже, чем носитель под арестом.

Штерн открыл папку, вынул лист и положил перед ним.

— Подписывайте, — сказал он. — Волкова переводится в ваш отряд с сегодняшнего дня. Испытание — в июне.

* * *

Тимур согласился сразу и без разговоров.

Он сидел на койке, чинил куртку и сказал:

— Я танк. Ты командир. Только два правила. Первое: ты мне говоришь, когда берёшь у меня. Второе: ты больше не командуешь мной в бою так, как в Ачинске, — «иди на счёт», — я не слепой.

— Ты ходил по счёту, потому что я тебя вёл.

— Я ходил по счёту, потому что ты меня использовал, — сказал Тимур. — Разница есть. И я не в обиде: если бы не использовал, я бы там умер. Но в следующий раз скажи заранее: «Тимур, я тебя использую, потому что иначе никак». Тогда я сам решу.

— Хорошо, — сказал Арсений.

— И ещё, — сказал Тимур. — Ты в отряде не главный.

Арсений поднял бровь.

— Ты главный, — сказал Тимур. — Но если ты начнёшь забывать, зачем мы, — я тебя остановлю. Это моё правило, не твоё.

* * *

Мазур пришёл с тетрадью и списком.

— Я согласен, — сказал он. — Но я хочу считать не только выходы.

— А что?

— Деньги, — сказал Мазур. — Ты не умеешь считать деньги, а без денег отряд — это шесть человек в куртках. Мне нужна протезная нога, Тимуру — новая куртка раз в год, Грише — рука, Вэй — медикаменты, тебе — тетради. Это сорок две тысячи в месяц. Тридцать даёт «Ярус», ещё двенадцать — из доли.

— Ты уже посчитал.

— Я всегда считаю, — сказал Мазур. — Ещё я буду вести список. Каждый, кого мы не вытащим, — в список, с именем. Люба из Хора дала мне тетрадь.

Он поднял на него глаза.

— Ты с Хором?

— Я с теми, кто пишет имена, — сказал Мазур. — Это не Хор, это тетрадь. В тетради нет политики, в тетради есть люди. И вот что, командир: если ты когда-нибудь захочешь закрыть очаг вместе с людьми — я первый скажу тебе «нет».

— Договорились.

* * *

Вэй согласилась на третий день.

Она сидела в своём медпункте и слушала молча, а потом сказала:

— Я не пойду.

— Почему?

— Потому что я лекарь, — сказала Вэй. — У меня сорок человек в день, и все живые. В отряде у меня будет шесть человек, и я буду выбирать, кого тянуть первым. Я не хочу выбирать.

— В отряде ты будешь выбирать, — согласился Арсений. — А здесь ты не выбираешь, потому что тебе приносят уже выбранных.

Она посмотрела на него.

— Ты пришёл с готовым аргументом.

— Я пришёл с правдой, — сказал Арсений. — Мне нужен человек, который скажет мне, когда я перестану быть человеком. Ты единственная, кто это видит: у тебя брат был носитель.

Вэй молчала долго.

— Тогда так, — сказала она. — Я пойду, если ты мне ответишь на один вопрос честно. Что у тебя на спине и что оно берёт?

Арсений сидел и считал: три секунды, четыре... Он мог соврать — и она бы не проверила. Он мог сказать часть — про память, не про корм.

— Оно берёт память, — сказал он. — И оно берёт чувства. И я придумал, как платить не собой: после боя, если остаётся... — он помолчал, — после боя я забираю то, что остаётся у твари, и отдаю ему. Оно ест это вместо меня.

Вэй смотрела на него, не отводя глаз.

— То есть ты ешь души, — сказала она.

— Я не ем, — сказал Арсений. — Ест оно. Я только приношу.

— Это не лучше, — сказала Вэй. — Но это честно. Знаешь, почему я пойду? Потому что ты сказал мне это на третий день нашего разговора об отряде, хотя мог молчать всю жизнь. Носитель, который умеет молчать, — это носитель, который дойдёт до конца и не заметит, как стал Королём. А ты не умеешь молчать. Значит, ты ещё человек.

Она встала и сняла с гвоздя сумку.

— Условие второе: то, что я услышала, я скажу Кире. Не сейчас — когда придёт время. Ты не будешь от неё это скрывать.

— Хорошо.

— И третье: если я увижу, что ты стал есть живых, — я тебя отравлю.

— Хорошо, — сказал Арсений.

* * *

Кира ждала его на подоконнике в галерее.

— Я слышала, — сказала она. — Меня переводят в твой отряд.

— Переводят.

— Ты подписал бумагу.

— Подписал.

— Какую?

Он рассказал.

Она молчала долго, и Арсений видел, как у неё дрожат руки — те, в бинтах, с песком под кожей.

— Ты дурак, — сказала она наконец.

— Знаю.

— Нет, ты не знаешь, — сказала Кира. — Ты подписал, что наденешь Корону. Понимаешь, что это значит? Ты не «постараешься». Ты подписал. Это уже сделано, это в папке, у Штерна, с печатью.

— Я знаю.

— И ты сделал это, чтобы меня на полгода отпустили в отряд.

— Да.

Кира отвернулась к окну.

— Я не хочу быть причиной, — сказала она. — Я хочу быть человеком. Понимаешь разницу? Причину не помнят, причину используют. А меня пусть помнят.

— Тебя будут помнить, — сказал Арсений. — Я записываю.

— Запиши, — сказала Кира. — И вот что ещё запиши: я согласна. Не потому, что ты мне нужен. Потому что в подвале я — убийца, а в палате я — сосуд. Убийцей быть лучше.

— И жетон верни. Пока я живая, пусть мой номер будет у меня, — сказала Кира. Арсений достал серый кружок из подкладки и протянул ей.

Она взяла жетон — свой, с тройкой, — и подбросила на ладони.

— Пусть побудет у меня, — сказала она. — Если меня наденут, ты знаешь, чей номер искать.

— И последнее, — сказала она. — Когда меня наденут — не спорь и не спасай. Сними. Обещай.

— Обещаю.

— Нет, — сказала Кира. — Так нельзя. Обещания надо записывать. Ты же сам так делаешь.

Он открыл тетрадь и записал при ней: «Когда Киру наденут — снять». Кира прочитала, кивнула и ушла по галерее — тонкая, серо-жёлтая, с прямой спиной.

* * *

Пеструхин отказался.

Он пришёл сам, как Гриша, но не остался: постоял у стены, послушал про доли и про тетради и сказал:

— Я не пойду.

— Почему?

— Потому что я хочу дожить, — сказал Пеструхин. — Я не трус. Я просто хочу дожить, а вы — нет. Это разные вещи.

Арсений молчал.

— Ты меня не уговаривай, — сказал Пеструхин. — Я знаю, что ты умеешь говорить: я слышал, как ты говорил с ней.

— Я не буду уговаривать, — сказал Арсений.

— Тогда хорошо. — Пеструхин потоптался и добавил: — Ты только не думай, что я плохой. Если тебе когда-нибудь понадобится человек, который не пойдёт, — я буду.

Он ушёл, и Мазур, стоявший рядом с тетрадью, спросил:

— Записывать?

— Запиши. Только не в тот список.

— А в какой?

— В отдельный, — сказал Арсений. — Где живые.

Мазур подумал и написал на последней странице: «Живые, которые отказались».

* * *

Их собрали в учебном корпусе, в пустом зале.

Их было шесть: Арсений, Тимур, Мазур, Вэй, Кира и Гриша — Гриша, который приехал сам, без вызова, и стоял у стены, держась за свою руку.

— Я слышал, ты собираешь, — сказал он. — Я не умею почти ничего. Я с баллоном. Но я не боюсь больше.

— Хорошо, — сказал Арсений.

Офицер из управления прочитал бумагу: отряд четвёртый экспериментальный, шесть человек, класс допуска Б, подчинение — институту и Лиге, отчётность — по каждому выходу.

— Название? — спросил он, не поднимая головы.

— Тринадцать, — сказал Тимур.

Офицер поднял голову.

— Это номер расформированного сводного.

— Это имя, — сказал Тимур. — Там были люди. Кожин, Белов, Дудник, Дудник-младший жив, но он не с нами. Мы возьмём это имя, чтобы оно не пропало в бумагах.

Офицер посмотрел на Арсения.

— Согласовано? — спросил он.

— Согласовано, — сказал Арсений.

Офицер записал: «Отряд тринадцатый (экспериментальный)».

— Первый выход — через неделю, — сказал он. — Очаг в старом санатории под Дивногорском. Класс Б. В отчёте укажете результаты.

Он ушёл.

Тимур посмотрел на них, на шестерых.

— Ну что, — сказал он. — Тринадцатые. Кто не вернётся — того запишем.

Сотников — из соседнего отряда, на соседней скамье, — сказал:

— Ага. Значит, нам и формы не надо: нас по спискам опознают.

Он сказал это как шутку. Он был из тех, кто шутит, когда ему страшно, и шутка вышла про мёртвых, и в зале стало тихо.

Мазур закрыл тетрадь.

Кира сказала ровно, не поднимая головы:

— Смешно.

И от этого «смешно» Сотникову стало хуже, чем от крика.

Он встал, вышел в коридор и стоял там минут десять, у окна, и курил в форточку, и никому не сказал, что ему стыдно.

Арсений вышел за ним и тоже ничего не сказал: он уже знал, что в таких случаях слова только добавляют стыда. Они постояли рядом, и Сотников сказал наконец:

— Я не хотел.

— Знаю.

— Скажи им.

— Скажи сам.

Сотников вернулся в зал и сказал — громко, глядя в стену:

— Я дурак.

— Да, — сказал Тимур. — Но ты живой дурак.

И только после этого Мазур снова открыл тетрадь.

Мазур поднял тетрадь.

— Уже пишу, — сказал он.

Вечером пришёл Прохоров.

Он приехал из Красноярска на попутной машине, в старой куртке, без нашивок, и стоял в проёме зала, пока отряд не заметил его.

— Игнат, — сказал Тимур.

— Сидите, — сказал Прохоров. — Я не к вам. Я к нему.

Они вышли в коридор.

— Дали разрешение, — сказал Прохоров.

— Дали.

— Шесть специалистов при тебе, класс до Б, пять очагов в месяц, отчёт по каждому выходу. Правильно?

— Правильно.

— Тогда слушай, — сказал Прохоров. — Я тебе скажу то, что тебе не скажет никто, потому что все хотят от тебя результата.

Он закурил.

— Отряд — это не шесть человек. Отряд — это шесть полевых ролей при командире. Ты можешь собрать шесть сильных и проиграть, и можешь собрать шесть слабых и выиграть, если каждый стоит на своём месте. У тебя кто?

— Тимур — стена, — сказал Арсений. — Мазур — снасть и счёт. Вэй — лекарь. Кира — точка. Гриша — холод.

— Пятеро, — сказал Прохоров. — Шестой?

— Пока нет.

— Тогда вот тебе моя тетрадь, — сказал Прохоров. — Не вся: вырванные листы. Тут двадцать два случая, когда отряд погиб, и в каждом написано, почему. Прочитай и не повторяй.

Арсений взял листы.

— И вот ещё, — сказал Прохоров. — Шестой у тебя будет стрелок. Не бери убийцу: убийца у тебя уже есть. Не бери мага: маг не слушает счёт, он слушает себя. Ищи того, кто бьёт по чужому приказу и не спрашивает.

— Почему?

— Потому что твои глаза одни, — сказал Прохоров. — Кира полезет к твари, Тимур встанет поперёк прохода. Кого ты пошлешь туда, куда они уже не успевают? Стрелок должен услышать тебя с другого конца боя.

Он потушил окурок.

Он пошёл к выходу и у двери добавил:

— И вот последнее. Когда всё будет плохо — а будет плохо, — не спасай всех. Спаси тех, кого донесёшь. Это не жестокость: это арифметика, от которой потом легче жить.

Он ушёл.

Арсений стоял в коридоре и смотрел на листы: двадцать два случая, мелкий почерк, даты, имена, и в конце каждого — одна строка, причина.

Перед сном Вэй измерила отметку: сто восемнадцать миллиметров. Под свежим бинтом линия ещё жгла.

Глава 14. Пестун

Санаторий под Дивногорском перестал быть санаторием в семьдесят девятом. Они приехали четырнадцатого мая, ровно через два года после последней смены.

Три корпуса, столовая с колоннами, лестница к реке. На дверях — бумажки с печатями, на подоконниках — пыль, в палатах — кровати с голыми матрасами.

— Очаг в подвале, — сказал офицер, не вылезая из машины. — Первый выход экспериментального. Отчёт — в течение суток. Напоминаю: класс Б, очаг малый, работы на час.

— А что в подвале? — спросил Тимур.

— В семьдесят девятом тут был склад медоборудования, — сказал офицер. — В том же семьдесят девятом подвал закрыли. Что там сейчас, вам никто не скажет: никто не ходил.

Он уехал.

Айсен остался: институтский наблюдатель, худой, с блокнотом, с бинтом на пальцах. Он сел на ступеньки и открыл блокнот, и Арсений понял, что всё, что они скажут и сделают, пойдёт в бумагу.

— Правила, — сказал он отряду. — Первое: сначала люди. Второе: никого не бросаем. Третье: я не беру ни у кого без спроса. Четвёртое: если Айсен пишет — не мешать ему, но и не помогать.

— А если нас спросят, что было? — сказал Мазур.

— Скажем, что было, — сказал Арсений. — Только в бумаге — своими словами.

Мазур усмехнулся.

— Я тебя этому учил, — сказал он. — Хорошо.

* * *

Ещё по дороге Мазур разложил на коленях лист.

— Считаю вслух, — сказал он. — Дорога — сорок минут. Время работы — час, но за час мы не уложимся, потому что первый выход. Доля: за класс Б — восемнадцать тысяч на отряд, если закрыть. Если не закрыть — ноль, и отчёт в институт.

— Мазур, — сказал Тимур. — Ты живой человек или калькулятор?

— Я кузнец, — сказал Мазур. — У меня нога из вязи и голова из цифр. Если бы я не считал, вы бы получали двенадцать тысяч и один баллон на шестерых.

Кира сидела у окна и смотрела в лес.

Она держала нож — не в руке, а на коленях, плашмя, и кисти у неё были в бинтах, и она их не разжимала.

— Кира, — сказал Арсений. — Как рука?

— Плохо, — сказала она. — Я не могу держать долго. Минуту, может, две.

— Значит, у тебя будет минута, — сказал Арсений. — Больше не надо.

— Всем так говорят, — сказала Кира. — «Больше не надо». А потом надо.

— Тогда я скажу иначе, — сказал Арсений. — Ты не будешь драться. Ты будешь искать. Один удар за выход, и этот удар — в точку. Всё остальное — на нас.

Кира посмотрела на него и кивнула.

— Так лучше, — сказала она.

Арсений развернул нарисованную от руки схему на коленке: три корпуса, подвал, два поворота.

— Роли, — сказал он. — Тимур — проход, броня, он на себя. Гриша — холод на проход. Мазур — нить на выход и время. Вэй — в середине: если будет шёпот, поднимешь «Чистое поле». Кира — точка. Я — счёт и команда. Айсен сидит наверху.

— А если оно нас разбудит всех? — спросил Гриша.

— Тогда мы не выйдем, — сказал Арсений. — Если Вэй поднимет круг, из него не выходить никому. Даже если увидишь, что кто-то падает, — тащи его в круг, а сам не выходи.

— Понял.

В подвале было тепло и пахло сладким.

Слишком тепло для мая, и слишком сладко: так пахнет не лекарство, а сироп. Свет из окон не доходил, и они зажгли фонари, и в свете фонарей Арсений увидел первое.

Коридор был длинный, в два поворота, и по обе стороны от коридора — палаты. В палатах стояли кровати, и на кроватях лежали люди.

— Сколько? — спросил Тимур.

— Тридцать один, — сказал Арсений. — Дышат. Все живые.

Кира подошла к ближней палате и посмотрела.

— Это не больные, — сказала она. — Это персонал. У них халаты.

Она была права: на кроватях лежали люди в белых халатах, в халатах с чужого плеча, и все они спали. Рядом с кроватями стояли стулья, на стульях — чашки, книги, чьи-то очки. Как будто люди присели и уснули на минуту — и минута эта длилась два года.

На двенадцати кроватях белая ткань уже обтянула спящих и тянулась к потолку. Остальные девятнадцать лежали открыто.

— Вэй, — сказал Арсений. — Проверь.

Вэй подошла, взяла ближнего за руку, потом второго, потом третьего.

— Они спят, — сказала она. — Не в коме: спят. Пульс ровный, зрачки реагируют. Их не били и не кололи. Их просто усыпили.

— Два года, — сказала Кира.

— Что?

— На стене, — сказала она. — График дежурств.

Арсений посмотрел. На стене висела бумага в рамке: «График дежурств по корпусу Б. Май 2079». Внизу — фамилии и подписи, все до одной до тринадцатого числа. После тринадцатого мая не было ни одной подписи.

— Они легли четырнадцатого, — сказал Мазур. — И спят два года.

— Вэй, — сказал Арсений. — Если их разбудить, они смогут идти?

— Не сразу, — сказала Вэй. — Сначала вода, потом еда, потом свет. Но у нас нет трёх часов: у нас час.

— Значит, выносим спящими, — сказал Арсений. — Гриша, коконы — в первую очередь: они ближе к нам.

— А дети? — спросил Гриша.

Он стоял у двери в дальнем конце коридора, и на двери было написано «Палата № 4. Детское отделение».

Арсений подошёл и открыл.

Там стояли кровати. Шесть. Все пустые: аккуратно застеленные, с подушками, с игрушками на одеялах, и в комнате было тихо.

— Вывезли, — сказал Тимур. — В семьдесят девятом, когда закрывали.

— Да, — сказал Арсений.

Он не поверил себе. Он смотрел на кровати и считал — не глазами, а счётом: шесть кроваток, шесть пустых мест, и на каждой подушке вмятина, как будто голову сняли, а подушку оставили.

Он не сказал об этом вслух. Он вообще ничего не почувствовал — только отметил: вмятина есть, значит, дети лежали.

Арсений прочистил горло, чтобы услышать собственный голос.

И в глубине коридора запели.

* * *

Это была не песня.

В коридоре шёл звук: низкий, ровный, тянущийся, как тянется вода из крана. Арсений услышал его и почувствовал, как у него тяжелеют веки, и как тепло в подвале становится уютным, и как хочется сесть — просто сесть на минуту, у стены, где тепло.

— Спать! — сказал он вслух, и собственный голос вытолкнул его из тёплого, как выталкивает из воды. — Вэй!

— Держу! — сказала Вэй, и от неё пошло тепло — круг на десять метров, «Чистое поле». Звук остался, но стал тише, и спать больше не хотелось.

— Всем стоять в круге, — сказал Арсений. — Из круга не выходить. Мазур, время.

— Пошло, — сказал Мазур.

Оно вышло из-за поворота.

Арсений увидел его через счёт: тёплое, плотное, большое, но медленное. Потом увидел глазами.

Пестун был похож на человека, который очень долго лежал: тело белое, рыхлое, как тесто; руки — длинные, до колен, с плоскими ладонями, без пальцев, как лопаты; ноги короткие, и он ими почти не пользовался — он двигался, перебирая по стенам руками, и от этого казалось, что он плывёт. Лица не было: вместо лица — гладкая белая маска, и на ней, как на подтаявшем воске, отпечатались черты — нос, губы, брови, но не свои, а как будто снятые с кого-то.

От него и шёл звук. Он не пел: он дышал, и дыхание у него было такое, что человек, услышав, ложился.

— Тимур, — сказал Арсений. — В проходе. Броня.

— Есть.

Тимур шагнул вперёд, выдохнул, и кожа у него на руках и на шее стала серой, матовой, как старое олово. Он встал поперёк коридора, широко, и Пестун ткнулся в него — и остановился.

— Кира, — сказал Арсений. — Точка. Где?

Кира ушла в нить.

Она сжалась и вытянулась, как нитка, и там, где нитка прошла, воздух не двигался; но Арсений видел, как ей тяжело: кисти у неё в бинтах, и нож она держит не как убийца, а как человек, которому больно сжимать руку.

Она обошла Пестуна по стене, встала у него за левым плечом и сказала:

— Под маской. Вход там, где отпечаток носа.

— Не даст ударить. Ты уже засыпаешь, — сказал Арсений.

— Дай мне секунду, — сказала Кира.

— Вэй, — сказал Арсений. — Она сейчас упадёт.

— Знаю, — сказала Вэй, и от неё пошёл второй круг — узкий, на одного человека: она тянула Киру, держала поле и следила за Тимуром, и по её лицу было видно, что третий круг она не потянет.

— Гриша, — сказал Арсений. — Коконь.

Баллон пошёл вверх, и пошёл по палатам. Там, у стен, к потолку тянулись серые мешки — коконы, и в каждом лежало по человеку, и Гриша, обходя кровати, бил в них холодом: мешки твердели, как стеарин, и перестали шевелиться.

— Мазур, — сказал Арсений. — Нить на выход, и если он пойдёт на меня — рви.

— Понял.

Пестун ударил Тимура двумя ладонями сразу — плоскими, без пальцев, — и Тимура продавило на полметра, и на его серой броне осталась вмятина, как на олове, — но он встал.

Второй удар он нанёс по стене: ладонь вошла в кирпич, как в тесто, и из стены пошла штукатурка.

Третий он не стал наносить. Он задышал чаще, и звук стал гуще, и от звука коконы у стен начали шевелиться: серые мешки набухли и пошли волной, и в них заворочались люди.

— Гриша! — сказал Арсений. — Коконь! Он их будит!

— Не успею! — крикнул Гриша. — Их двенадцать!

— Успеешь, — сказал Арсений. — По одному, с ближнего. Тимур держит.

Тимур держал. Он стоял в проходе, широко, и Пестун бил в него снова и снова, и с каждым ударом броня Тимура становилась тоньше: серая матовость уходила с рук и оставалась только на груди, и Арсений видел, как мана у Тимура падает — восемьдесят, шестьдесят, сорок.

— Вэй!

— Держу! — сказала Вэй. — Ещё тридцать секунд, и я его не вытяну!

— Мазур, нить!

Мазур кинул нить поперёк, и Пестун наступил в неё — и нить пошла вверх по его ноге, как шнур, разрезая белое. Он не закричал: он остановился и посмотрел на ногу, как смотрят на царапину.

Секунд, которые он на это потратил, хватило Кире.

— Держу! — сказал Тимур.

— Держи, — сказал Арсений. — Кира, сейчас!

Пестун повернулся к Кире, и его дыхание пошло в неё, и Кира начала оседать — медленно, как оседает человек, которому очень хочется спать.

И тогда Арсений сделал то, чего не хотел делать.

Он не стал брать. Он подошёл сам.

Он подошёл вплотную, взял Пестуна за руку — за плоскую ладонь без пальцев, — и закричал: не от страха, а чтобы Кира услышала голос и не уснула.

— КИРА!

Она вздрогнула и ударила.

Нож вошёл под маску, туда, где отпечаток носа, и Пестун не закричал: он замолчал. Звук — тот ровный, тянувшийся звук, который шёл от него два года, — оборвался, и в подвале стало так тихо, что стало слышно, как в палатах дышат тридцать один человек.

Пестун осел на пол и растёкся, как растаявшее тесто.

Кира упала на колени рядом с ним и выронила нож.

* * *

Они вытащили тридцать одного.

Это заняло четыре часа: людей несли по двое, и Арсений считал вслух — «раз, два, три», — и по этому счёту Тимур шёл, и Мазур шёл, и Гриша шёл, и Айсен стоял наверху и писал в блокнот, не поднимая головы.

Первый из спящих проснулся, когда его вынесли на воздух.

Он был в белом халате, худой, седой, и он долго смотрел в небо, а потом спросил:

— Какой год?

— Восемьдесят первый, — сказал Мазур.

Он закрыл глаза и заплакал — беззвучно, как плачут старики, у которых уже нет сил.

— Два года, — сказал он. — У меня дочь в институте. Она была на четвёртом курсе.

— Найдём, — сказал Арсений.

Он сказал это и отметил про себя: он сказал неправду. Он не знал, где её искать, и не собирался искать. Слова вышли сами, потому что так было принято говорить, и внутри у него от этого ничего не шевельнулось.

Он записал это позже — и записал честно: «Я сказал, что найду его дочь. Я не собирался. Значит, вру я уже не по расчёту, а по привычке. Это хуже».

Кира не могла идти и не могла держать: Вэй наложила ей на кисти холодные мешки с песком и сказала, что второго выхода в этом месяце не будет.

— Больше не смогу, — сказала Кира.

— Не надо, — сказал Арсений.

— Надо, — сказала Кира. — Я один раз попала. Этого хватит на год.

Наверху, когда последнего уложили на носилки, Айсен закрыл блокнот.

— Отчёт, — сказал он. — Что пишу?

Арсений смотрел на него и сказал то, чего не собирался:

— Пишите: очаг пуст, тварь ушла через нижний ход до нашего прихода. Тридцать один человек — персонал санатория: спали в палатах от утечки, их вынесли и госпитализировали.

Айсен поднял голову.

— Тварь ушла, — повторил он.

— Да.

— Вы её убили, — сказал Айсен. — Я видел кровь на ноже.

— На ноже кровь Киры, — сказал Арсений. — Она порезала руку о перила.

Он сказал это ровно, не отводя глаз, и внутри у него было холодно и удобно, как инструмент.

Айсен смотрел на него секунды три. Потом записал.

— Хорошо, — сказал он. — Запишу, что вы сказали.

Он ушёл, а Мазур подошёл и встал рядом.

— Ты соврал в бумаге, — сказал он.

— Да.

— Я тебя этому учил, — сказал Мазур. — Но я учил тебя врать про себя, а не про тварь. Зачем?

Арсений не ответил. Он и сам не знал: тварь была убита, за неё полагались доля Кире и рейтинг отряду, и утаивать было незачем. Он соврал не ради выгоды. Он соврал потому, что ложь оказалась удобной, а удобство он теперь чувствовал лучше, чем стыд.

— Больше так не делай, — сказал Мазур. — Иначе я не смогу тебе верить.

— Не буду, — сказал Арсений.

Он записал это в тетрадь вечером, честно, чтобы было с чем сравнивать:

«Первый выход. Пестун убит, тридцать один человек вынесен. Кира попала один раз — этого хватило, чтобы все выжили. Тимур держал, Вэй держала круг, Гриша залил коконы, Мазур поставил нить.

Значит, чёрствость идёт быстрее, чем я думал: я соврал в отчёте, и мне не было стыдно. Мазур сказал, что не сможет мне верить. Значит, я потеряю его первым.

И ещё одно: в школе, если сильный бил слабого, я влезал. Сегодня врач заплакал и спросил про дочь, а я сказал „найдем“ и внутри ничего не шевельнулось. Я не соврал ему из зла. Я даже не пожалел его толком: я отметил его, как отмечают число в столбике.

Дао выбрало меня за то, что я не молчу. Значит, оно выбрало то, чего во мне становится меньше. Вот про это — про то, что будет, когда меня не станет совсем, — я и пишу эту тетрадь.

Ночью я вернулся и скормил Дао остаток. Пестун был большой: остатка хватило на два хода вперёд. Дао сказала: „Принято. Ты принёс больше, чем нужно“. Отметка выросла на два миллиметра — я потом измерил, — и это при том, что ходов я не делал.

В подвале, за палатами, в дальней стене, я видел корень. Белый, толстый, он шёл из земли и уходил в потолок. Здесь такого быть не должно: это сосна, а корень — не сосновый. Значит, под санаторием что-то есть.

Спрошу у Прохорова. Спрошу у Ветлицкой, когда вернусь».

Глава 15. Серёжа

В стрелковом зале института никогда не зажигали полный свет: стрелкам он не нужен, а мишеням вреден.

Арсений пришёл туда пятнадцатого мая, по бумаге: «объект четвёртый, осмотр материальной части».

Материальной частью оказался мальчик.

Он лежал на полу, на мате, лицом вверх, и рядом с ним лежал лук — не лук: короткая металлическая дуга без тетивы, с манжетой посередине. Мальчик держал на груди три патрона и перебирал их пальцами.

— Ты Серёжа, — сказал Арсений.

— Серёжа.

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

Он не повернул головы. Он вообще не смотрел на вошедшего: он смотрел в потолок, и глаза у него были белые — не бельма, а ровный, светлый, как молоко, белок, и в этом белке не было зрачка.

— Ты меня видишь? — спросил Арсений.

— Нет, — сказал Серёжа. — Слышу. Ты ходишь на левую пятку, у тебя куртка новая и скрипит, и у тебя в кармане бумага. Ты кто?

— Арсений. Командир тринадцатого отряда.

Серёжа сел.

— Ага, — сказал он. — Слышал. Ашка, который держал четырёх в школе и отказался закрывать очаг с людьми. Зачем пришёл?

— Хочу тебя взять.

— В отряд.

— В отряд.

Серёжа засмеялся — коротко, без злобы.

— Я слепой, — сказал он. — Я стрелок третьего уровня, у меня минус четырнадцать по глазам, и я вижу только ману. Я могу попасть в муху на тридцати метрах, если она живёт и дышит. Я не могу попасть в стену, потому что стена не дышит.

— Тебе не надо попадать в стены, — сказал Арсений.

— Мне надо попадать в тварей, — сказал Серёжа. — А твари — они дышат. Только вот беда: я стреляю маной, а ману я беру из себя. Каждый выстрел — это минус глаза. Я за год потерял четырнадцать. Ещё год — и я не увижу даже ману.

Он поднял дугу и повернул её в руках.

— Знаешь, что мне сказали в институте? «Ты ценный, пока видишь». То есть пока я попадаю. А потом меня переведут в палату для инвалидов, и я буду там сидеть и слушать, как другие стреляют.

— Пойдём к нам, — сказал Арсений.

— Зачем тебе слепой стрелок?

— Затем, что ты попадаешь, — сказал Арсений. — И затем, что я тебя не переведу в палату.

* * *

— Покажи, — сказал Арсений. — Как ты стреляешь.

Серёжа встал, и Арсений впервые увидел, как он двигается: не по памяти, а по звуку — он чуть поворачивал голову, ловя эхо, и шагал точно, не задевая стоек.

— В зале три мишени, — сказал он. — Дальняя — тридцать метров, правая — двадцать два, ближняя — двенадцать. За дальней сидит инструктор: у него мана идёт ровно, он спокойный. В правой мана не идёт: там чучело. В ближней мана идёт быстро, и я не знаю, кто это.

— Там никого нет, — сказал Арсений.

— Значит, — сказал Серёжа, — у меня галлюцинации. Это нормально: на третьем уровне бывает.

Он поднял дугу.

Это не был лук и не был арбалет: он взял манжету в левую руку, и от манжеты пошли тонкие белые нити — к правой руке, к груди, к земле. Первый патрон он вложил в манжету и потянул левой рукой воздух.

Ничего не щёлкнуло. Просто в зале стало светлее: с его рук пошла белая нить, тонкая, как паутина, и в этой нити был виден весь зал — стойки, мишени, пыль.

— «Прицел», — сказал Серёжа. — Я вижу не глазами: я вижу, где в воздухе мана. Всё живое светится, всё мёртвое — нет. Дальняя мишень: там инструктор за поглотителем, за щитом, у него сердце слева и чуть выше, потому что он сидит.

Он выстрелил.

Патрон ушёл не по прямой: он пошёл по нити, чуть выгибаясь, и вошёл в дальнюю мишень не в центр, а в левую верхнюю четверть.

— «Один патрон», — сказал Серёжа. — Он не бьёт в центр. Он бьёт туда, где гуще.

— А если щит?

— Тогда «Пронзающий». — Он вложил второй патрон. — Он пробивает железо на два миллиметра. Больше не может: я слабый.

Он выстрелил, и патрон прошёл через стальной лист, который стоял перед поглотителем дальней мишени, и в листе осталась дырка с оплавленными краями.

— И третье, — сказал Арсений.

— Третье не надо.

— Покажи.

Серёжа помолчал, потом сказал:

— «Дождь». Это когда я стреляю не три раза, а двадцать. Тогда я попадаю во всё, что светится, и не могу остановиться, пока не кончится мана. А мана у меня в глазах.

Он всё-таки показал: поднял манжету, и в зале стало бело. Последний патрон распался на двадцать нитей; они сошлись вокруг дальней мишени. Через четыре секунды в щите не осталось целого места. Поглотитель за ним погасил остаток.

А потом Серёжа сел на пол, и из-под век у него пошли две тонкие красные струи.

— Вот, — сказал он, вытирая лицо рукавом. — Это минус месяц. Я иногда не удерживаюсь.

— Больше не будешь, — сказал Арсений.

— Буду, — сказал Серёжа. — Когда прижмёт. Но я скажу заранее.

Институт его не отдал.

Штерн выслушал и сказал ровно:

— Нет.

— Почему?

— Потому что он — программа, — сказал Штерн. — Как Волкова. Он стрелок третьего уровня, у нас таких двое на страну. Он стоит восемьсот тысяч, и его списывают через год; за этот год он должен выстрелить столько, сколько сможет, чтобы мы поняли, где предел.

— А потом?

— А потом палата, — сказал Штерн. — Жестокости тут нет. Есть учёт: человек, который перестал стрелять, становится расходом, а расход мы не содержим на балансе, потому что тогда не хватит на тех, кто стреляет.

Он закрыл папку.

— Волкову вы получили, — сказал он. — Понимаете, что вы уже получили? Дайте мне что-то взамен: не бумагу, а результат. Сделайте так, чтобы ваш отряд закрыл пять очагов за месяц — и я подпишу всё, что вы попросите.

— Пять очагов.

— Пять. — Штерн встал. — И ещё одно, Громов. Вы собрали калек: убийца с песком в костях, слепой стрелок, мальчик с чужой рукой, лекарь, которая едва держится на ногах. Это не отряд, это богадельня. Вас сожрут на третьем выходе.

— Это отряд, который не бросает, — сказал Арсений.

— Красиво, — сказал Штерн. — Только в бумаге красивое не считается. Пять очагов.

* * *

Мазур нашёл выход за два дня.

Он сидел в казарме с тремя бумагами и говорил, водя пальцем по строкам:

— Смотри. Он — имущество программы, списать нельзя, перевести нельзя. Но у него минус четырнадцать по глазам, а это значит, что по внутреннему приказу сто семнадцать он негоден к строевой. Негодных положено либо списать в палату, либо передать под опеку.

— Под опеку?

— К лечебному подразделению, — сказал Мазур. — Не в отряд — в медчасть. Санитаром. У нас есть медчасть: Вэй — лекарь, у неё есть право просить санитаря. Она пишет заявку, институт её заверяет, и он приходит к нам...

— ... санитаром, — сказал Арсений.

— Санитаром, — сказал Мазур. — В боевом списке он шестой специалист при тебе, в штатном — санитар медчасти. Один человек, два списка. Я проверял трижды: приказ сто семнадцать никто не читает целиком, потому что он длинный.

Он поднял глаза.

— А в бою он будет стрелять, — сказал Мазур. — Потому что санитару никто не запрещает защищать раненых.

Арсений смотрел на него долго.

— Мазур, — сказал он. — Ты страшный человек.

— Я бумажный человек, — сказал Мазур. — Есть разница. Подписывай: мы выходим на пять очагов за месяц.

* * *

Вэй заполнила заявку за вечер.

Она сидела и писала, и рука у неё дрожала — не от волнения, а оттого, что она весь месяц тянула чужие раны.

— Я напишу, — сказала она. — Но ты знаешь, что будет?

— Что?

— Он ослепнет совсем. При прежней нагрузке — месяц или два: его третий уровень стрелка доедает остаток зрения. И когда он ослепнет, ты его не выгонишь, потому что ты такой.

— Не выгоню.

— Тогда я тебе скажу, что я думаю, — сказала Вэй. — Я думаю, что ты собираешь их, чтобы тебе было чем платить.

Арсений не ответил.

— Не отвечай, — сказала Вэй. — Я сказала это, чтобы ты это услышал и не забывал. А теперь вот, держи.

Она подала ему заявку, и в графе «мотив» стояло: «нуждается в уходе и наблюдении; сохранение остаточной функции зрения».

— И вот ещё, — сказала Вэй. — Ты поговори с ним про смерть.

— Про что?

— Про смерть, — сказала Вэй. — Он ждёт, что ты дашь ему умереть в бою. Он не скажет об этом: он будет стрелять и считать выстрелы. Но он об этом думает каждый день, и ты должен решить, что ты ему обещаешь.

* * *

Вэй осмотрела его в тот же вечер.

Она светила ему в глаза фонарём, смотрела зрачки — которых не было, — и в конце сказала:

— Сетчатка цела. Она истончается, но цела. Это не болезнь, это расход: мана выходит через глаз и выносит с собой слои.

— Сколько осталось? — спросил Серёжа.

— Два месяца при прежней частоте выходов и трёх выстрелах в каждом, — сказала Вэй. — Месяц, если ты будешь делать «Дождь». Дашь глазам отдых — продержишься дольше. Израсходованное не восстановится.

— Понял.

Она заклеила ему веки влажными салфетками и уложила на кушетку.

— И вот что, — сказала она ему тихо, думая, что Арсений не слышит. — Ты не инструмент. Ты мальчик. Если тебе станет страшно — скажи мне, а не ему.

— Я не боюсь, — сказал Серёжа.

— Все бояться, — сказала Вэй. — Просто некоторые считают.

Серёжа пришёл к отряду через неделю.

Он вошёл в казарму с дугой на плече и с сумкой, и Тимур посмотрел на него и сказал:

— Стрелок. Ты правда слепой?

— Правда.

— И как ты стреляешь?

— По мане, — сказал Серёжа. — Ты живой, у тебя мана идёт. Я вижу, где она гуще. Там и сердце.

— А в стене?

— В стену не попаду.

— Хорошо, — сказал Тимур. — Значит, стену держу я, а ты бей во всё, что дышит.

Серёжа усмехнулся.

— Мне нравится этот отряд, — сказал он.

Вечером он подошёл к Арсению и сел рядом.

— Я знаю, зачем ты меня взял, — сказал он.

— Зачем?

— Ты жалеешь, — сказал Серёжа. — Все жалеют слепых. Мне не нужно, чтобы меня жалели: мне нужно, чтобы меня считали стрелком.

— Хорошо, — сказал Арсений.

— И вот ещё. — Серёжа положил на стол три патрона. — Три выстрела за один выход — предел. Больше нельзя: за четвёртый я потеряю месяц. Когда останутся эти три — я скажу, и ты будешь знать, что после них я слепой совсем.

— Скажу тебе честно, — сказал Арсений. — Я не буду обещать тебе смерть в бою. Я обещаю другое: я поищу, чем вернуть тебе глаза. Я знаю, что есть такое, что возвращает: я вернул им мать.

— Мать?

— Мать, — сказал Арсений. — Она была потеряна. У меня есть то, чем можно платить, и оно берёт не только память.

Серёжа молчал долго.

— Если ты врёшь, — сказал он, — я не расстроюсь: я привык. А если не врёшь — тогда я тебе верю, и это хуже, потому что я тебе тогда поверю до конца.

Кира подошла к нему на второй день.

Она села напротив, поставила локти на стол и сказала:

— Третий корпус, закрытое крыло?

— Закрытое.

— Второй этаж, окна на забор?

— Второй этаж, окна на забор, — сказал Серёжа. — Ты Кира. Тебя все знают: ты дольше всех в программе.

— Ты первый, кто меня узнал по голосу, — сказала Кира. — Я тебя не помню, ты пришёл позже. У тебя песок?

— У меня стекло, — сказал Серёжа. — Песок — у тебя.

— У меня песок, — согласилась Кира. — У тебя стекло в глазах, у меня песок в костях. Знаешь, что это значит?

— Что?

— Что нас делали одни и те же люди, — сказала Кира. — Только для разного. Из меня делают сосуд, из тебя — глаз.

Она встала.

— Если ты ослепнешь, — сказала она, — не дай им себя в палату. Лучше в подвал. В палате с ума сходят быстрее.

— А ты? — спросил Серёжа. — Ты чего боишься?

— Я боюсь не смерти, — сказала Кира. — Я боюсь, что меня наденут, и я стану не мной. Ты знаешь, что это такое?

— Знаю, — сказал Серёжа. — Это когда смотришь, а видишь чужое.

Он встал.

— Ладно, Кира. В палату больше не хочу.

На третий день они учились работать вместе.

Полигон после смены был пустой: пять мишеней, темнота, дым от шашки.

— Серёжа, — сказал Арсений. — Ты видишь ману, но не видишь, кто свой. Кира видит форму, но в темноте не видит цвет. Значит, работаем так: я считаю и называю, Кира идёт, ты бьёшь по моему счёту.

— По счёту? — переспросил Серёжа.

— Я буду считать ману вслух, — сказал Арсений. — Густая — значит, живое и близко. Ты слушаешь и стреляешь туда, куда я говорю.

Они сделали двадцать заходов, и только три из них были с выстрелом — первый, пятый и двадцатый: остальные без единого, только позиция, наведение и счёт. Так настояла Вэй, и Серёжа согласился сам.

На первом Серёжа стрелял в звук и попал в стену. На пятом попал в мишень, но в чужую, и Кира сказала из темноты:

— Ты в меня чуть не попал.

Арсений перестал говорить «правее» и стал говорить числом: «сорок два, ближе». И стрелок стал попадать.

На двадцатом заходе Кира обошла мишени пешком и встала за последней. Серёжа навёлся на её ману. Арсений успел крикнуть: «Свой, не бей!» Стрелок отвёл дугу; патрон прошёл рядом, на палец от плеча.

— Плохо, — сказал Серёжа. — Я не различаю своих.

— Будешь, — сказал Арсений. — Я буду говорить «свой» заранее. Всегда. Даже если придётся кричать.

Тимур смотрел на них со стены и сказал:

— Знаете, что вы сейчас сделали?

— Что?

— Ты успел предупредить, а он поверил тебе и отвёл дугу, — сказал Тимур. — Теперь повторите. В бою я между вами не встану.

— Это пока не работает, — сказал Серёжа.

— Работает, — сказал Тимур. — На семнадцати заходах ты навёлся верно без выстрела. Дважды ошибся мишенью. На последнем успел отвести дугу от своего. Плохо, но теперь вы знаете, что исправлять.

После ужина они вернулись к пустым мишеням. Серёжа держал оружие без заряда; Арсений ходил между щитами и предупреждал, прежде чем появиться в проходе.

Наутро Мазур принёс план следующего очага: белолесье под Дивногорском, там, где корень.

Глава 16. Белый лес

В бумаге это называлось «объект 14-бис», а в отряде — просто дырой: старая штольня за Дивногорском, засыпанная наполовину, класс Б.

Двадцать восьмого мая, перед спуском, Вэй осмотрела Киру ещё раз. Левой рукой она могла дать три коротких импульса; правая всё ещё дрожала после санатория. Вэй выхода не разрешила. Кира пошла всё равно, и Арсений это принял. Оба слышали: «Три — предел сегодня, а не разрешение на бой».

Внизу пахло не подвалом, а лесом: сырой корой, грибами и чем-то сладким, как от варенья. Пахло так сильно, что Тимур остановился и сказал:

— Это не Б.

— Знаю, — сказал Арсений.

Он видел: штольня кончалась через сорок метров — не стеной, а белым. Белое стояло поперёк прохода, как стоит туман в кино, и в нём росли деревья: не отражения и не тени — настоящие стволы, белые, тонкие, и они уходили вверх, в темноту, которой в штольне быть не могло.

— Домен, — сказала Вэй.

— Что это? — спросил Гриша.

— Место, у которого есть хозяин, — сказала Вэй. — В домene работают его правила, а не наши. Я видела один раз: там вода текла вверх.

— А здесь что?

— Не знаю, — сказала Вэй. — Узнаем.

— Мазур, — сказал Арсений. — Время.

— Двадцать три ноль девять, — сказал Мазур. — Пошли.

— Последнее, — сказал Арсений. — В домene время может идти иначе. Значит, своему счёту времени и часам Мазура не верим.

— Тогда как мы поймём, когда уходить? — спросил Мазур.

— Никак, — сказал Арсений. — Поэтому уходим раньше, чем понадобится.

— Это как? — спросил Гриша.

— По мане, — сказал Арсений. — Мана наша, домен её не считает.

Он повернулся к Серёже.

— Ты будешь считать выстрелы, не время. Понял?

— Понял, — сказал Серёжа. — Сегодня два. Третий не трогаем.

— Кира, сегодня три Нитки, — сказал Арсений. — Одна на пробу, одна на опору. Третью держишь до моего приказа.

— Знаю, — сказала Кира.

— Тимур, ты держишь, пока у тебя шестьдесят. Как шестьдесят — назад. Вэй, если кто-то из нас потеряет счёт — ты берёшь его на себя: у тебя мана видна лучше всех.

— Хорошо, — сказала Вэй.

Они пошли, и это было как войти в воду.

Внутри не было ни холода, ни тепла, ни ветра.

Было светло — ровно, как в пасмурный день, — и от этого света деревья казались не белыми, а светящимися. Стволы стояли часто, в двух шагах друг от друга, и между ними лежал мох: толстый, мягкий, белый, и он пружинил под ногами.

Мох под ногами затягивался.

Он заметил это на десятом шаге: следы, которые они оставляли, — глубокие, в белом мхе, — пропадали. Не заплывали и не разглаживались: мох поднимался и становился ровным, как будто никто не шёл.

— Следов нет, — сказал Мазур.

— Вижу, — сказал Арсений.

— Значит, назад мы не найдём дорогу.

— Значит, найдём другую, — сказал он.

Они прошли ещё немного, и лес открылся: между стволами стояла поляна, а на поляне бил ручей.

Ручей шёл вверх.

Вода поднималась из земли и поднималась в воздух, тонкой струёй, к ветвям, и там расходилась, как дым, и не падала обратно — висела.

— Вэй, — сказал Гриша. — Ты говорила: вода вверх.

— Говорила, — сказала Вэй.

Она подошла и посмотрела. Потом сказала:

— Я тут не лекарь. Я тут ничего не знаю.

Арсений начал считать и сразу понял: счёт не держится.

Он отсчитывал шаги — и на двенадцатом сбился, хотя никогда не сбивался. Он считал стволы — и получал то двенадцать, то двадцать, а потом снова двенадцать. Он считал ману — и мана шла ровно, как река.

— Мазур, — сказал он. — Сколько прошло?

Мазур посмотрел на часы.

— Три минуты.

— Ты уверен?

— Часы показывают три минуты, — сказал Мазур. — Но я знаю, что мы идём дольше. У меня нога устала, а она устаёт через час.

— Тимур, сколько ты идёшь?

— Час, — сказал Тимур. — Может, два.

— Вэй?

— Полчаса.

— Гриша?

— Не знаю, — сказал Гриша. — Я не считал.

— Серёжа?

— Двадцать минут, — сказал Серёжа. — Я считал выстрелы и дыхание. Дыхание — восемьсот.

— У нас у всех разное время, — сказал Арсений.

Он остановился и понял, что делать.

— Считать будем не время, — сказал он. — Считать будем ману. Мана у нас — наша, её домен не трогает. Вэй, сколько у тебя?

— Полный резервуар.
— Тимур?
— Девяносто.
— Гриша?
— Восемьдесят.
— Кира?
— Семьдесят.
— Серёжа?
— Полный.
— Мазур, протез держит?
— Пока держит, — сказал Мазур, и в его голосе было облегчение: он понял, что его часы больше не главные.
— Значит, так, — сказал Арсений. — У Тимура девяносто. Пока он не дойдёт до шестидесяти, мы идём. Как дойдёт — разворот. Это и будет наше время.
— Принято, — сказал Тимур.

* * *

И на поляне они нашли человека.
Он сидел под стволом, прислонившись спиной, и был высохший — не скелет, а именно высохший, как сушат грибы: кожа на лице натянута, глазницы пустые, на коленях — планшет, в руке — карандаш.
Куртка на нём была охотничья, с нашивкой. Нашивка была Б.
— Он тут давно? — спросил Гриша.
Вэй присела и посмотрела.
— Не скажу, — сказала Вэй. — Здесь тело высыхает иначе. Он не сгнил; похоже, его держит домен.
Мазур взял планшет и открыл.
Листы были исписаны, и последние записи шли столбиком: числа, числа, числа, и внизу, крупно, трижды:
«Не считайте время. Не считайте время. Не считайте время».
— Он был счётчик, — сказал Мазур. — Как ты.
Арсений взял планшет.
На обороте последнего листа был рисунок: восемь чёрточек, пять прямых, три коротких, и под ними надпись, сделанная уже неровно:
«Он не нападает. Он сторожит. Мы ещё не дошли до того, что он сторожит».
— Он умер, считая, — сказал Серёжа.
— Он умер, потому что считал время, — сказал Арсений. — А надо было считать себя.
Он положил планшет на колени мертвецу, и они пошли дальше.
Лес ждал.
Он не напал: он вырос.
Арсений увидел, как между стволами, из мха, полезли корни — белые, толстые, как канаты, и они шли не в стороны, а вверх, обвивая стволы, и по ним раскрывались цветы.

Цветы были белые, размером с ладонь, и у каждого в середине сидела маленькая чёрная точка. Пять лепестков. И когда цветок раскрывался у ноги Тимура, Арсений понял, что это.

Это был счёт.

Цветок считал: каждый лепесток — минута. Пять лепестков — пять минут, и потом он закрывается. Закрылся — и корень берёт.

— Цветы! — сказал он. — Не наступать! Бейте цветы!

— Чем?! — крикнул Тимур.

— Холодом! Гриша, холодом!

Гриша ударил баллоном в мох, и белая пыль пошла стелиться, и цветы на линии холода вяли: лепестки сводило, чёрная точка гасла, и корни под ними останавливались. Но линия была одна, а лес — со всех сторон.

— Тимур, стену!

— Ставлю!

Тимур выдохнул, и вокруг них встало кольцо — не мутное, а плотное, как матовое стекло, и в этом кольце свет стал серым. Корни ткнулись в стену снаружи и пошли по ней вверх, оплетая, как оплетает плющ.

— Сколько? — спросил Тимур.

— Девяносто, — сказал Арсений. — Ты не тратил.

— Отлично. Я его держу и не трачу: он меня не давит.

— Он не давит, — сказал Арсений. — Он ждёт. Он ждёт, пока мы устанем или пока цветы закроются. Кира, что видишь?

Кира стояла на коленях и смотрела сквозь стену.

— У каждого ствола есть жила, — сказала она. — Внизу, у корня, где ствол толще. Если её пересечь, ствол падает.

— Проверь.

Кира ушла в нить и вернулась через несколько секунд — для неё, а для Арсения через две.

— Падает, — сказала она. — Я срезала одну — это первая из трёх. Остались две, потом рука.

— Два и надо, — сказал Арсений. — Серёжа, ты видишь жилы?

Серёжа поднял мутные глаза.

— Вижу, — сказал он. — Все. Их двести. Командир, тут двадцать метров до чего-то большого: там мана густая, как каша.

— Это хозяин, — сказала Вэй. — И, кажется, он идёт.

* * *

Он шёл медленно, потому что был лесом.

Арсений увидел его между стволами: стволы впереди сходились, и там, где они сходились, стояло нечто — белое, огромное, в десять человеческих ростов, и на нём не было ни рук, ни ног: оно было сделано из стволов, сплетённых, как пальцы. Головы не было тоже: в верхней части белого расходилась выемка — как дупло, как глаз, — и в этой выемке темнели знаки.

Восемь.

Пять прямых, три коротких, последняя — длиннее и наклонена вправо, как замах. Точно такие, как на стене в Разломе, точно такие, как на камне в бумагах отца.

— Прохоров был прав, — сказал Арсений вслух.

— Что? — спросил Тимур.

— Восемь — это подпись, — сказал Арсений. — И подписывает не тот, кто внизу.

И тогда Арсений увидел, что домен делает с людьми.

У Вэй поседела правая прядь — не от страха: волосы у виска стали белыми, как мох. У Гриши застыла рука — та, с нитью, — и он смотрел на неё и не понимал. У Мазура часы остановились на двадцати трёх двенадцати, и он снял их и убрал в карман.

А цветы вокруг них раскрывались быстрее: пять лепестков, четыре, три. Он понял: цветы — это не часы Короля, это их часы. Каждый, кто вошёл в лес, получал свой срок, и срок считался лепестками.

— Тимур, — сказал он. — У тебя на ноге.

Тимур посмотрел вниз: под стопой, во мху, раскрылся цветок, и лепестков у него осталось два.

— Что это?

— Твой счёт, — сказал Арсений. — Тебе осталось две минуты до того, как он тебя возьмёт. Гриша, холод сюда! Живо!

Гриша ударил холодом в мох, и цветок у ноги Тимура свернулся, чёрная точка в середине погасла.

— Идите по мху, где холод, — сказал Арсений. — Всё остальное — не наше.

Король Корней поднял — не руку: ствол. Он выдрал из земли целое дерево и повёл им, как ведут рукой, и дерево снесло кольцо Тимура вместе с мхом.

Тимура отбросило, и он упал на спину, и его броня пошла трещинами.

— Вэй! — крикнул Арсений.

— Вижу! — Вэй уже стояла над Тимуром, и от её ладоней шло тепло: «Затягивание». — Он живой. Рёбра целы. Ему надо минуту.

— У нас нет минуты, — сказал Арсений. — У нас есть мана. Тимур, сколько?

— Шестьдесят, — сказал Тимур.

— Значит, время вышло, — сказал Арсений. — Уходим к выходу. Мазур, нить на стволы! Гриша, холод в проход! Серёжа, за мной, бей по жилам, я скажу какие!

Они пошли назад — и не нашли выход.

Мох за ними зарос: там, где они вошли, стояли стволы, и между ними не было ни прохода, ни белого тумана, ни штольни. Домен закрылся.

— Вот и всё, — сказал Гриша.

— Нет, — сказал Арсений.

Он смотрел не на стволы. Он смотрел на ману.

Он видел, как по всему лесу идёт поток — ровный, тянущийся, как река, — и как он течёт в одну сторону. Всё, что в домene живо, текло в эту сторону, и в конце потока, в двадцати метрах, сидела та самая густая каша.

— Он ест лес, — сказал Арсений. — Он и есть лес. Если мы ударим в него, лес умрёт; если лес умрёт, домен откроется.

— Ты уверен? — спросила Вэй.

— Нет, — сказал Арсений. — Но у нас два удара Киры, два выстрела Серёжи и моя мана. Больше ничего нет.

— Ну что, — сказал он. — Пойдём убьём лес.

* * *

Они подошли на восемь метров.

Король Корней ударил стволом, и они разошлись: Кира — влево, Серёжа — вправо, Тимур встал на одно колено и поднял кольцо на одного себя.

— Кира! — сказал Арсений. — Жила внизу, у левой опоры!

Она ушла в нить, и вернулась, и ствол-опора рухнул, и Король наклонился.

— Серёжа! Туда, где каша гуще!

Серёжа выстрелил два раза — один за другим, потому что он не считал времени, — и два патрона вошли в белое, и в белом открылись две дыры, и из дыр пошёл белый сок.

Король замер.

Он не умер: он повернулся, и в его дупле, в темноте, восемь знаков стали светлее.

А потом он посеял.

Арсений не сразу понял, что произошло: Гриша вскрикнул. Из мха под ним поднялся корень — тонкий, белый, толщиной с палец, — и вошёл ему в руку, в ту самую, с нитью, и в руке что-то пошло расти: под кожей, вдоль кости, потянулась белая нитка.

— Гриша!

— Он растёт! — крикнул Гриша. — Он во мне растёт!

— Мазур, нить! Кира — режь корень у кисти!

Мазур кинул нить, обмотал корень и потянул. Кира дала третью Нить: левой рукой перерезала белое там, где оно входило в кисть Гриши.

Гриша закричал.

— Вэй!

Вэй уже была рядом: она взяла его руку в свои и зажала, и от её ладоней пошло тепло — «Затягивание», — и белое под кожей остановилось, съёжилось и вышло наружу, как выходит заноза.

Рука Гриши не слушалась совсем.

— Я больше не могу держать баллон, — сказал он.

— Будешь держать левой, — сказал Арсений. — Вэй, сколько у тебя?

— Двадцать, — сказала Вэй. И добавила тихо: — Ещё один такой раз, и я не встану.

— Значит, последний, — сказал Арсений.

Он посмотрел на ману: у Тимура пятьдесят восемь, у Киры ноль — три Нитки, она своё отработала, — у Серёжи оба выстрела потрачены, у Вэй двадцать. Мазур ещё держал нить, но заметно припадал на протез.

— Слушайте приказ, — сказал он. — Мы не можем его убить. Мы можем его остановить. Тимур — кольцо на всех, последнее, потом падай. Мазур — нить на левую опору. Кира — ты уже не бьёшь, ты ведёшь Гришу. Серёжа — веди Гришу на мой голос. Вэй — держи нас, пока стоишь.

— А ты? — спросила Вэй.

— А я его остановлю, — сказал он.

Он расстегнул куртку и проверил бинт на спине.

Отметка была сто двадцать миллиметров и тёплая, и в груди, под грудиной, там, где стояло число, лежало то, что он принёс из санатория: два хода, оплаченных кормом Пестуна.

— Готовы? — спросил он.

— Готовы, — сказал Тимур.

— Тогда работаем, — сказал Арсений.

И тогда Арсений сделал то, что обещал себе делать только в самом конце.

Он взял ход из корма.

Он не терял памяти: он потратил то, что уже лежало в Дао, — и надпись пришла не про цену, а про счёт:

ХОД ИЗ КОРМА. ОСТАТОК: ОДИН. ВЗЯТО: ПРИГОВОР. УРОВЕНЬ ВТОРОЙ.
ЦЕЛЬ: ОДНА. ДЕЙСТВИЕ: СТОЙ.

— Стой, — сказал он.

И лес встал.

Всё сразу: мох перестал пружинить, цветы остановились раскрытыми, стволы перестали расти, и Король Корней замер, наклонившись вперёд.

— Кира, — сказал Арсений. — В дупло. Восемь знаков. Ломай.

— Там кость, — сказала Кира.

— Там счёт, — сказал Арсений. — Кость — то, что ты видишь. Подпись — то, что там есть.

Кира не двинулась.

— У меня ноль, — сказала она. — Три Нитки отдала: проба, опора, корень у Гриши. Маны нет.

— Я знаю.

— Тогда ты не понял, — сказала Кира. — Я не могу ударить. Убийца без маны — это девочка с ножом. Но я могу влезть: у меня в костях песок, а песок — это не мана. Это то, что от меня осталось.

— Это перелом, — сказал Арсений.

— Знаю, — сказала Кира.

Она пошла к дуплу.

Она не стала бить рукой: она подошла вплотную, прижала к стволу правое плечо и вошла в дерево — так, как входят плечом в заклинившую дверь, — и внутри у неё что-то хрустнуло, и она всё равно довела, и ударила тем, что осталось: туда, где темнели восемь знаков, в самую длинную, наклонённую чёрточку.

Знаки погасли.

Она села на мох, держа руку на весу, и сказала ровно, как говорят о чужом:

— Ключица. Я больше не бью.

Вэй потом считала: три Нитки и одно плечо — это на этом выходе всё, что у неё было.

Король осел, как оседает дерево, и лес пошёл: стволы клонились, белое уходило в мох, и там, где они вошли, снова стал виден проход — серый, пыльный, с одинокой лампой.

Они вышли.

В штольне было холодно, и пахло не лесом, а землёй и ржавчиной. Айсен ждал их на площадке, и он посмотрел на них так, как смотрят на вернувшихся с того света.

— Сколько? — спросил Арсений.

— Что сколько?

— Сколько нас не было?

Айсен посмотрел в блокнот.

— Одиннадцать дней, — сказал он.

Было восьмое июня.

Арсений сел на камень.

Одиннадцать дней.

— По расходу маны внутри прошло часа два, — сказал Мазур. — Я считал.

— Снаружи одиннадцать, — сказал Айсен. — Я записывал каждый день. Вас искали. Вас уже написали как «потери».

Арсений смотрел на свои руки и считал: одиннадцать дней, восемь знаков, два выстрела, три Нитки Киры, один ход из корма.

— А что за одиннадцать дней? — спросил он.

— У Волковой назначили испытание, — сказал Айсен. — На двадцатое июня. И у вас в посёлке письмо: брат болеет, тётя просит приехать.

Вэй села рядом и посмотрела на свои руки: они были сухие и старые, старше её на десять лет.

— Что с тобой? — спросил Арсений.

— Она меня доела, — сказала Вэй. — Не домен: моя же мана. Я держала четверых и не считала себя. — Она помолчала. — Знаешь, что самое противное?

— Что?

— Мне не жалко, — сказала Вэй. — Я смотрю на руки и думаю: ну, поработали. Как будто это не мои руки, а инструмент. Ты меня этому научил.

Арсений не ответил.

Он вошёл в лес человеком, который не может молчать, когда бьют слабого. Он вышел оттуда человеком, который считает лепестки и ману и не считает чужие руки.

Арсений сидел на камне, и в штольне было холодно.

Он не забыл день рождения Мирона. Он пропустил его: двадцать девятое мая прошло, пока он шёл по лесу, где время не считается.

Это было хуже. Забытое можно записать и вспомнить. Пропущенное — не вернуть.

Глава 17. Носитель

После белолесья их распустили до двенадцатого июня, и Арсений поехал в институт: Ветлицкая вызывала его на замеры.

Она уложила его на кушетку, в комнату без окон, и приклеила датчики — шесть на грудь, четыре на спину, вдоль отметки, и один на затылок.

— Лежите, — сказала она. — Не спите. Дышите как обычно.

Приборы щёлкали двадцать минут.

Потом она отложила линейку и села.

— Я вам кое-что скажу, — сказала Ветлицкая. — Вы учтите: я тридцать лет пишу цифры и не верю ни в Дао, ни в судьбу. Я верю в кривые.

— И что говорит кривая?

— Она говорит, что отметка растёт не только при выборе, — сказала Ветлицкая. — В Дао вы сделали шесть выборов; два прежних заимствования у Тимура стоят отдельно. Сейчас длина — сто двадцать миллиметров. По вашей кривой после первых пяти выборов я ждала не больше шестидесяти.

— Я кормил, — сказал Арсений.

— Кормили, — согласилась она. — Вот именно. У вас растёт не сила. У вас растёт то, что внутри.

Она подала ему распечатку.

— Смотрите. При самом кормлении — небольшая прибавка. Но каждая ночь после корма даёт всплеск: вот здесь, здесь и здесь. Оно шевелится ночью, Громов. Оно растёт, пока вы спите.

Арсений смотрел на ленту.

— У нас был один такой, — сказала Ветлицкая ровно. — В шестьдесят четвёртом. Мальчик, шестнадцать лет, отметка на спине. Мы думали: носитель. Мы писали в бумагах «носитель». А вскрытие показало, что он был носимым: не он держал то, что внутри, а оно держало его. Он умер не от твари, и не от Короны. Он умер потому, что его стало меньше, чем того, что в нём жило.

— И что мне делать?

— Я не знаю, — сказала Ветлицкая. — Я тридцать лет знаю только цифры. Но если кривая права, вам надо узнать, чего оно от вас хочет. И пока не поздно.

* * *

Он узнал ночью.

Он лежал в своей комнате, в третьем корпусе, и не спал. И Дао открылось.

Не так, как всегда — узко, одной надписью. Оно открылось всё.

Он стоял в чёрном зале, и стволов перед ним было семь, и все ветви на них были открыты: он видел огонь, воду, землю, воздух, время, пространство и разум, и на каждой ветви висели умения — сотни, тысячи, и каждое было доступно.

Он протянул руку.

ВОЗЬМИ ВСЁ. ЦЕНА: ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК. ТЫ БУДЕШЬ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ. ОСТАНЕТСЯ ОДИН.

Он отдернул руку.

— Нет, — сказал он.

Надпись не изменилась.

— Сколько можно? — спросил он. — Ты дало мне счёт, ты дало хранителя, ты дало приговор. Ты брало память, брало лето, брало мать. Ты сказало, что есть еда. Я тебе её приношу. Так объясни: чего ты хочешь?

И тогда Дао ответило.

Не надписью — голосом, ровным, как бумага:

«Я НЕ ДАР».

Арсений стоял и молчал.

«Я ЖИЛЕЦ. Я ПРИШЁЛ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ТЕБЕ. МНЕ НУЖЕН БЫЛ ЧИСТЫЙ СОСУД: не злой, не жадный, не трус. Я выбирал долго — тридцать лет. Ты подходил. Ты не умеешь молчать, когда бьют слабого: значит, ты не сломаешься от силы. Такой сосуд надо есть медленно, иначе он треснет».

— И ты ело.

«Я ЕЛ ПАМЯТЬ. ПАМЯТЬ — ЭТО ТЫ. Я ЕЛ ЛЕТО, ГОЛОС, ЛИЦО. Я ЕЛ ПОНЕМНОГУ, ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАМЕТИЛ».

— А потом я нашёл корм.

«ТЫ НЕ НАШЁЛ. Я ДАЛ. Я СКАЗАЛ БЫ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ БЫ МОГ ЖДАТЬ. ТЫ ОТКАЗАЛСЯ ПЛАТИТЬ БРАТОМ, И Я ОТКРЫЛ ТЕБЕ ВТОРУЮ ЕДУ».

Арсений смотрел на стволы.

— Зачем?

«ПОТОМУ ЧТО МНЕ ПЛОХО ОТ ТЕБЯ», — сказало Дао.

Он не понял.

«Я ВЫБРАЛ ТЕБЯ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ. НО ТЫ ДЕРЖИШЬ МЕНЯ. Я НЕ МОГУ ВЗЯТЬ ТВОИ РУКИ. Я НЕ МОГУ ВЗЯТЬ ТВОЮ ВОЛЮ. Я МОГУ ВЗЯТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ САМ МНЕ ДАЁШЬ: ПАМЯТЬ ИЛИ ЕДУ. И Я БЕРУ. Я КОПЛЮ. Я РАСТУ, — и в чёрном зале стало чуть светлее, — Я ХОЧУ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ ТЕБЯ. КОГДА Я СТАНУ СИЛЬНЕЕ, Я ПЕРЕСТАНУ СПРАШИВАТЬ».

Он стоял и слушал, и внутри было ровно и холодно.

— Значит, корм — это не моя хитрость, — сказал он. — Это твоя еда.

«ДА».

— И каждый раз, когда я приношу тебе душу твари, я делаю тебя сильнее.

«ДА».

— И задача у тебя одна: стать сильнее меня.

«ДА».

— А почему ты ещё не стал?

И тут Дао замолчало.

Оно молчало долго — впервые за всё время. А потом сказало — коротко, и от этих слов у Арсения стало холодно в спине:

«ПОТОМУ ЧТО ТЫ ДЕРЖИШЬ. ПОКА ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ НЕ ПЛАТА ЗА СОБСТВЕННУЮ СИЛУ — Я ВНУТРИ. СОГЛАСИШЬСЯ ПЛАТИТЬ ЛЮДЬМИ — ДВЕРЬ ОТКРОЕТСЯ».

* * *

Он вышел из Дао, как выходят из воды: с открытым ртом, с мокрым лицом.

В комнате было темно.

Он сидел на койке и считал: шесть выборов в Дао, корм на один следующий ход, сто двадцать миллиметров. Две пищи — память и твариный остаток. Семь человек в отряде. Один жилец.

Он думал долго, и в конце понял простую вещь.

Его нельзя победить силой: Дао даст ему любую силу и станет сильнее вместе с ним. Его нельзя победить хитростью: Дао старше, и оно придумало корм раньше. Его можно победить только одним: оставаться тем, кого оно выбрало. Пока он вступается за слабых — оно заперто. Если он согласится покупать силу чужой жизнью — сам откроет дверь.

Значит, у него есть работа, которую нельзя пропускать.

Он встал, зажёл лампу и записал в тетради — крупно, чтобы прочитать с утра:

«Правда о Дао: оно не дар, а жилец. Оно выбрало меня, чтобы съесть, потому что я чистый сосуд. Оно ест память, чтобы стать сильнее, и ест твариные души, чтобы стать сильнее. Оно думало, что я не выдержу силы.

Но внутри меня что-то оказалось крепче. Оно признало: „Ты держишь“. Это его слова, не доказательство, что я уже победил. Не платить людьми — мой замок.

Значит, правила такие: Первое: не брать „всё“. Никогда. Второе: кормить только столько, сколько нужно, и не больше. Третье, главное: каждый раз выбирать человека, а не выгоду, — вступаться за того, кто слабее. Доброты в этом нет: это замок.

И четвёртое: если я когда-нибудь назову чужую жизнь удобной платой за себя — остановиться и сказать Вэй».

* * *

Утром он пошёл в медпункт и рассказал Вэй.

Она слушала, не перебивая, и когда он закончил, долго молчала.

— То есть, — сказала она, — всё, что ты делаешь хорошего, ты делаешь не потому, что хороший, а чтобы не выпустить жильца.

— Нет, — сказал Арсений. — Я делаю это потому, что иначе не могу. Оно само сказала: за это меня и выбрало. Просто теперь у этого есть и второе назначение.

Вэй смотрела на него.

— Знаешь, что это значит? — сказала она. — Это значит, что твоя драка — не в подвалах. Твоя драка — в тебе, каждый день, до самой смерти.

— Я знаю.

— Хорошо, — сказала Вэй. — Тогда так: раз в неделю я буду тебя спрашивать. Одну вещь: за кого ты вступился, кроме отряда.

— А если я не вступлюсь?

— Тогда я это запишу, — сказала Вэй. — Ты же всё записываешь. Пусть будет один человек, который считает тебя, а не ты.

Она взяла его тетрадь, посмотрела на последнюю страницу и кивнула.

— И вот ещё. Я тебе скажу то, что вижу как лекарь. Ты стал жёстче. Раньше ты бы сказал седому врачу, что найдёшь его дочь, и пошёл бы искать. Теперь ты сказал и не пошёл. Это уже не оно: это ты сам. Ты не заметил, как согласился быть таким.

Арсений не ответил.

* * *

Одиннадцатое июня. До испытания оставалось девять дней.

Кира ждала его в галерее, на подоконнике, и ела синт-пельмени из банки.

— Ну что, — сказала она. — Двадцатое июня.

— Что двадцатое?

— Моё испытание, — сказала Кира. — Через девять дней меня наденут. Первое надевание: обычно на минуту, чтобы посмотреть, примет ли. Я хочу, чтобы ты был там.

— Буду.

— Не «буду», — сказала Кира. — Запиши.

Он записал при ней, на подоконнике: «Кира. Двадцатое июня. Быть там».

— И вот ещё, — сказала она. — Ты сегодня странный. Что случилось?

Арсений посмотрел на неё и не соврал:

— У меня внутри сидит то, что хочет меня съесть. Оно даёт мне силы, чтобы стать сильнее меня самого. Я каждый день должен его держать.

Кира перестала жевать.

— И что ты будешь делать?

— Вступаться, — сказал Арсений. — Оно это не умеет. Пока я вступаюсь, оно заперто.

Кира смотрела на него долго.

— Знаешь, — сказала она, — я тебе завидую.

— Чему?

— У тебя есть замок, — сказала она. — А у меня снаружи нет замка: у меня есть песок в костях и бумага, на которой написано, что я — программа. Если меня наденут, я ничего не смогу.

Она закрыла банку и встала.

— Ты только не забудь, — сказала она. — Ты обещал меня снять.

Глава 18. Приказ

Очаг открылся в Студгородке, под студенческим общежитием, и к утру в нём было триста двадцать человек.

Арсений узнал об этом в пять часов: его поднял Мазур и сказал, что отряд вызывают не в Лигу, а в институт, и что вызывают не на выход, а на подпись.

В институте, в кабинете Штерна, на столе лежала бумага.

— Читайте, — сказал Штерн.

Арсений прочитал.

«Объект 22-в (Студгородок). Очаг класса В, растёт по коммуникациям общежитий. Расчёт на 5:00 девятнадцатого июня: локальные проходы закроются к 10:00 двадцатого июня; слияние с городской сетью — к 17:00 того же дня, через тридцать шесть часов. При слиянии — потеря четырёх районов, до двенадцати тысяч человек. Решение: локализовать объект до закрытия проходов. Люди внутри локализации — не выводятся: по расчёту института вывод невозможен, домен закрывается изнутри. (Ниже, в сноске: „при попытке вывода — потеря четырёх районов“.) Исполнитель: сводная группа „Столб-1“. Контроль: институт „Колодец“».

Он прочитал ещё раз — до конца, как учил Прохоров.

Внизу стояло:

«Экспериментальный отряд „Тринадцатый“ привлекается для удержания периметра. При отказе от привлечения: отряд расформировывается, перевод объекта третьего (Волкова К. А.) в состав отряда аннулируется».

Он положил лист.

— Триста двадцать, — сказал он.

— Триста двадцать, — согласился Штерн. — И двенадцать тысяч, если мы не закроем.

— Их можно вывести.

— Нельзя, — сказал Штерн. — Я проверял сам: мы посылали две группы. Домен складывается вокруг очага, как складывается лёд; внутри него не работает ни время, ни счёт. Вы это знаете лучше меня: вы были в белолесье.

— В белолесье мы вышли, — сказал Арсений.

— Вы вышли через одиннадцать дней, — сказал Штерн. — За одиннадцать дней там не осталось ни одного живого, кроме вас. А тут триста двадцать человек, и у нас сутки с небольшим.

Он подал ручку.

— Подпишите, что отряд участвует. Или не подписывайте — и тогда Волкова возвращается в программу сегодня. В программе она проживёт полгода. С вами — восемь месяцев: у нас есть расчёт, я вам его не покажу, но он есть.

Арсений смотрел на ручку.

— Вы это специально, — сказал он.

— Да, — сказал Штерн. — Я поставил вас в счёт, Громов. Вы носитель, и у вас на спине растёт то, что я тридцать лет пытаюсь понять. Я должен знать, как носитель

поведёт себя, когда цена — люди. Сегодня это стоит триста двадцать жизней. Через год это будет стоить город. Я хочу знать заранее.

Он откинулся в кресле.

— Подписывайте.

* * *

Он не подписал.

Он вышел из кабинета и в коридоре сел на подоконник, и Мазур сел рядом, и Тимур встал у стены, и пришла Вэй, и пришли Кира с Серёжей, и Гриша пришёл, и все молчали, пока Арсений не сказал:

— Он поставил условие: если мы откажемся, Киру возвращают в программу.

Кира сказала сразу:

— Значит, отказываемся.

— Кира.

— Нет, ты послушай, — сказала она. — Я всё думала, как это будет. Думала: вот меня наденут, и я стану сосудом. А теперь мне предлагают другое: чтобы я прожила восемь месяцев, ты должен убить триста двадцать человек. Понимаешь, что это?

— Понимаю.

— Нет, — сказала Кира. — Ты понимаешь, что ты станешь тем, кому я не хочу верить. Я тебе верю, потому что ты в Ачинске вышел из тумана пешком. Если ты сегодня подпишешь — всё, что было, станет враньём.

Она сказала это спокойно, как говорят числа.

— Иди за людьми, — сказала она. — А я как-нибудь.

Мазур сказал:

— Если мы откажемся, отряд расформируют. Шесть человек — по бригадам.

Кира — в палату. Гриша — в ремонт, у него рука. Серёжа — в институт, к стрельбам. Меня — в снабжение.

— Мы это знаем, — сказал Тимур.

— Я говорю не для того, чтобы спорить, — сказал Мазур. — Я говорю, чтобы вы все понимали цифру. И вот что: я в любом случае иду за людьми. Потому что если мы подпишем, то через год подпишем ещё раз, и ещё, и в конце подпишем что угодно — потому что привыкнем.

Вэй сказала:

— Я — за.

Серёжа сказал:

— Триста двадцать против восьми месяцев одной девочки. Считайте сами, я слепой, но не идиот.

Гриша сказал:

— Я с вами.

Арсений сидел на подоконнике и считал. Он считал долго, и внутри у него было ровно и холодно, и он ждал, что вот сейчас, как всегда, найдётся удобное решение — и не находил.

— Значит, так, — сказал он. — Мы не отказываемся и не подписываем. Мы срываем.

— Как? — спросил Мазур.

— Свидетелями, — сказал Арсений. — Ярус не может закрыть очаг с людьми, если там стоят камеры и двести человек. Это их собственное правило: зрелище. Значит, зрелище будет.

Он достал телефон — не институтский, а свой, старый, который ему дала Люба, — и набрал номер.

— Люба? Это Арсений. Мне нужны твои люди, камеры и все тетради. Студгородок, общежитие шесть. Триста двадцать человек внутри. Лига решила закрыть их вместе с домом.

Он выслушал и сказал:

— Да. Через два часа.

* * *

Трибуна собралась к девяти утра.

Никто её не строил: она сделалась сама. Хор привёл сорок человек с листовками; стримеры с камерами стояли на капотах, потому что их никто не пускал в оцепление; жильцы соседних домов стояли у забора — их никто не гнал, потому что гнать триста человек у Лиги не было людей.

Ярцев приехал в половине десятого.

Он вышел из машины в куртке без нашивок, и его аура вышла вместе с ним и легла на площадь, как ложится плита. Он посмотрел на толпу, потом на Арсения, и подошёл.

— Это ты, — сказал он.

— Я.

— Ты позвал людей.

— Позвал.

Ярцев посмотрел на камеры.

— Триста двадцать внутри и двенадцать тысяч снаружи, — сказал он. — Ты выбрал триста двадцать.

— Нет, — сказал Арсений. — Я выбрал, чтобы выбрал кто-то другой. Ты не можешь войти туда при камерах, а институт не может дать приказ при камерах. Значит, вы будете решать.

Ярцев молчал.

— Ты думаешь, я не хочу их вытащить? — сказал он вдруг. — Я был там ночью. Я спускался один. Я видел, что там: домен складывается вокруг очага. Вывести нельзя. Триста двадцать умрут. Двенадцать тысяч — нет.

— У меня есть способ, — сказал Арсений. — Не вывести. Разрезать домен: три манжеты по коммуникациям, коридор через подвал, огонь по границе. Я это делал в Ачинске.

— В Ачинске было двести четырнадцать и один домен в стадии тумана, — сказал Ярцев. — Тут очаг класса В.

— Тут триста двадцать живых, — сказал Арсений.

Ярцев смотрел на него долго.

— Ты знаешь, почему я тебя не люблю? — сказал он. — Ты думаешь, что я не человек. Я шесть лет делаю то, что приказано. Я выбрал один раз — в шестнадцать лет,

когда пошёл в Лигу, — и с тех пор не выбираю. Это и есть моя цена, и она тяжелее твоей: я каждый день помню, что я выбрал однажды.

Он повернулся к машине.

— Но сегодня я не могу, — сказал он. — Не потому, что ты позвал толпу. Потому что ты прав: при камерах не закрывают. Приказ будет утром.

— Значит, у нас есть ночь, — сказал Арсений.

— У тебя есть ночь, — сказал Ярцев. — Я в оцеплении. Если ты войдёшь и не выйдешь — я не пойду за тобой. Так и знай.

Он ушёл. К вечеру прогноз ухудшился: проходы должны были закрыться уже в 6:10, городская сеть соединиться с очагом — к десяти утра. Решение придётся принимать на месте.

Девятнадцатое июня, двадцать два ноль-ноль. Арсений стоял и считал: до закрытия проходов — восемь часов десять минут, до городской сети — двенадцать часов. Триста двадцать человек, шестеро своих, одна ночь.

— Мазур, — сказал он. — Считай манжеты.

— Считаю, — сказал Мазур. — Три по коммуникациям, две на входе. Пять, больше нет.

— Значит, пять, — сказал Арсений. — Тимур, Вэй, Кира, Серёжа, Гриша — вниз. Мы идём за людьми.

И тут Вэй показала ему две двери: главный корпус и детское крыло. Пять манжет хватало на одно.

— Считай, — сказала она. — Я не буду.

Он посчитал: в главном корпусе двести восемьдесят семь, в детском — тридцать три. Всего триста двадцать — те самые, из приказа. У детского крыла толще перекрытия: оно продержится дольше, а значит, шанс есть у обоих.

— Ставим на главный, — сказал он.

Никто не сказал ничего. Кира посмотрела на него и отвела глаза. Арсений проверил, что все пятеро идут за ним, и шагнул к главному корпусу.

На спине, под бинтом, стало горячо.

Дао проснулось.

* * *

Оно заговорило с ним в подъезде, когда они спускались, — коротко и зло, впервые за всё время.

«ТЫ НЕ ВЗЯЛ».

— Нет, — сказал Арсений.

«ТЕБЕ НУЖНА СИЛА. Я МОГУ ДАТЬ СИЛУ. ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК — ЭТО ХОД, КОТОРЫЙ РЕШИТ ВСЁ».

— Нет.

«ТЫ УМРЁШЬ».

— Может быть.

Дао молчало секунду.

«ТЫ ДЕРЖИШЬ, — сказала оно. — ХОРОШО. ДЕРЖИ. Я ПОДОЖДУ».

Арсений шёл вниз, и в груди у него было холодно, и он сделал то, чего не делал никогда: он ответил вслух, чтобы услышали свои.

— Ты не дождёшься, — сказал он. — Сильнее я стану. Но людьми платить не буду. Я собираюсь остаться собой.

— Ты с кем? — спросил Тимур.

— С собой, — сказал Арсений. — Пошли.

* * *

Внутри было холодно и мокро, и было неправильно.

Первый этаж общежития остался первым этажом: коридор, двери, лампы, велосипед у стены. А лестница на второй этаж вела на первый: они поднялись по ней и вышли в тот же коридор, только зеркальный — велосипед стоял слева, а не справа.

— Домен сложился, — сказала Вэй. — Мы внутри.

— Кира, — сказал Арсений. — Считай двери.

— Двадцать две, — сказала Кира. — И я их уже считала.

— Значит, считай снова и помечай.

Кира вытащила нож левой рукой: правая после Белого леса не поднималась выше груди. Вэй наложила ей жёсткую лямку и сказала вслух, чтобы слышали все: «Два часа, потом рука откажет. Дальше — без неё». Кира кивнула и не стала спорить и пошла вдоль стены, оставляя на каждой двери царапину. На седьмой двери царапина была уже своя, старая.

— Круг, — сказала она.

— Не круг, — сказал Арсений.

Он смотрел на ману и видел: коридор складывался, как бумага. В складках главного корпуса оставались двести восемьдесят семь человек. Ещё тридцать три виднелись сбоку, за швом детского крыла. Комнат было несколько десятков; люди теснились в них по несколько.

— Люди в стенах, — сказал он вслух.

— Что? — спросил Тимур.

— Они не в комнатах, — сказал Арсений. — Они в складках. Их можно вынести только там, где складка открыта.

Он показал: в двадцати метрах, у лестничной клетки, в воздухе стояла щель — тонкая, как трещина в стекле, и в этой щели была видна комната, кровать, и на кровати сидела девушка.

Девушка смотрела не на них: она смотрела в стену, и губы у неё шевелились.

— Серёжа, — сказал Арсений. — Ты её видишь?

Серёжа стоял и держал манжету, и по его лицу было видно, что он не видит ничего.

— Я вижу ману, — сказал он. — За щелью триста точек. И ни одной твари. Я не могу стрелять в стену, командир. Я тут бесполезен.

— Ты не бесполезен, — сказал Арсений. — Ты будешь держать щель.

— Как?

— Ты видишь ману. Я буду говорить, куда она идёт, а ты будешь считать. Если щель начнёт закрываться — крикнешь.

— Понял, — сказал Серёжа.

— Тимур, кольцо на щель. Гриша — холод по краю: домен боится холода, в белолесье боялся. Вэй — ты с людьми. Кира — со мной, резать складки. Мазур — манжеты: пять, по коммуникациям.

— На это нужно тридцать минут, — сказал Мазур.

— Значит, у нас тридцать минут.

Они начали.

* * *

Это была самая тяжёлая работа в его жизни, потому что она была скучной.

Не было твари, не было боя: были двери, сложенные, как бумага. Кира дала три короткие Нитки за всю работу. Первой разрежала шов ближних комнат, второй — общий шов вдоль коридора. Комнаты раскрывались одна за другой, и оттуда выводили людей. Третью она потратила на боковую складку: через неё было видно детское крыло, но прохода для человека не получалось. Дальше Кира работала ножом, без Нити.

Первую вынесла Вэй — девушку, которая смотрела в стену и шевелила губами.

— Ты кто? — спросила девушка.

— Лига, — сказал Арсений.

— А почему вы не в форме?

— Мы не Лига, — сказал он. — Мы отряд.

Одна из складок детского крыла закрылась у них на глазах.

Арсений увидел, как складка сошлась — медленно, как сходятся створки, — и в ней остались две кровати и мальчик на нижней; он спал.

— Кира!

Кира бросилась, но не успела: складка сомкнулась, и в стене не осталось ни щели, ни двери — только ровный бетон.

— Он живой? — спросил Тимур.

— Живой, — сказал Арсений. — Пока вижу ману. Если складка уйдёт глубже, мы уже не узнаем.

— А когда развернётся?

— Тогда он останется за стеной, — сказал Арсений. — Если манжеты туда не достанут.

Он считал: триста двадцать, две зоны, пять манжет, шестеро своих. На наружном маяке часы уже показывали утро; внутри прошло лишь девять минут работы.

— Мазур, сколько?

— Две поставил, — сказал Мазур. — Три подготовлены, не могу дотянуться до узлов. На работу осталось двадцать одна минута по нашему расходу.

— Тимур, как щель?

— Держу, — сказал Тимур. — Она тянет. Маны сорок. Двадцать минут я не вытяну.

Арсений посмотрел: у Тимура сорок, у Вэй тридцать, у Киры десять, у Гриши двадцать, у Серёжи полный.

Серёжа пересчитал вышедшие точки: двести тринадцать уже перешли из открытых комнат в проход, за наружные манжеты. В главном корпусе оставались

семьдесят четыре. В детском крыле двадцать одна точка ушла за закрытые складки; двенадцать ещё виднелись у бокового шва.

И тогда он сделал то, что решал с вечера.

Он закрыл глаза и открыл Дао — последний раз за эту ночь, потому что в корме у него оставался один ход.

— Дай мне то, что нужно, — сказал он.

Надпись пришла короткая, без цены: цена была уплачена раньше, Пестуном.

ХОД ИЗ КОРМА. ОСТАТОК: НОЛЬ.

И тут же — тихо, как будто извиняясь:

«Больше не проси. У меня пусто, а новое берётся только с нового. Съеденное дважды не считается».

ВЗЯТО: ПРИГОВОР. УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ. ДЕЙСТВИЕ: РАЗОМКНИ.

— Разомкнись, — сказал он.

И домен разомкнулся.

Стены пошли в стороны — не развалились, а именно разошлись, как разводит руки человек, — и в коридоре стало вчетверо больше места, и в этом месте открылись складки: двадцать, потом сорок, потом шестьдесят, и из них пошли оставшиеся семьдесят четыре человека: сонные, испуганные, в пижамах и пальто; кто-то кричал, кто-то нёс ребёнка, кто-то не хотел идти без кота.

— На выход! — крикнул Арсений. — Тимур, кольцо на проход! Гриша, холод по краю! Мазур, узлы открылись, замыкай!

Сорок секунд держал «Приговор», и все сорок секунд люди шли мимо него.

На тридцать девятой секунде Мазур замкнул пятую манжету. Три узла и две манжеты на входе сцепились. Арсений потянулся к боковому шву, за которым ещё были двенадцать детских точек, но шов ушёл в бетон: чтобы раскрыть его, пришлось бы снять манжету с главного прохода. Оттуда всё ещё шли люди. Он не снял.

На сорок первой стены пошли обратно, и Тимур упал.

— Не могу! — сказал он. — Всё!

— Вэй!

Вэй уже стояла над ним, и её руки были старые и сухие, и она тянула сразу троих: Тимура, Киру — та удерживала нож левой рукой, — и мальчика, которого кто-то оставил в коридоре.

— Я не тяну! — сказала она. — Арсений, я не тяну больше!

— Тяни меня, — сказал Арсений и подставил ей руку.

— Ты дурак, — сказала Вэй и взяла.

Он почувствовал, как из него пошла мана — тонко и быстро, — и как Вэй взяла её и перелила в Тимура, и как Тимур встал.

— Мазур! — крикнул Арсений.

— Пятая держит! — сказал Мазур от щитка.

Манжеты удержали главный проход, когда Приговор кончился.

Домен дрогнул, и по коммуникациям пошёл разрез: просто там, где домен складывался, стало складываться нечему. Стены выпрямились, коридор вытянулся, и в конце его, в двадцати метрах, стал виден выход — серый, с улицей и мелким дождём.

— Все! — крикнул Арсений. — Все на выход!

Они вышли в пять минут седьмого.

Маяк снаружи показывал: двадцатое июня, 6:05. Внутри они истратили около получаса; снаружи прошла ночь.

* * *

Наверху был мокрый асфальт и толпа.

Арсений стоял у стены, и его рвало, и рядом на асфальте лежали свои: Тимур без сознания, Вэй с руками, которые не держат, Гриша, который не может встать, Кира, у которой шла кровь из носа и из-под бинтов, и Серёжа, который сидел и считал выстрелы, которых не было.

Люди шли и шли. Их считал Мазур — стоял у выхода с блокнотом и говорил вслух: «двести восемьдесят один, двести восемьдесят два...»

Утром Мазур закрыл блокнот.

— Двести восемьдесят семь, — сказал он. — Тридцать три остались в складках. Из них двадцать один — в тех, что закрылись до манжет.

— Двенадцать — в тех, что закрылись уже при манжетах, — сказал Мазур.

— Триста двадцать минус двести восемьдесят семь, — сказал Арсений.

— Тридцать три, — сказал Мазур. — Я не буду это округлять.

Ярцев стоял у машины и смотрел на них. Он подошёл и сказал:

— Двести восемьдесят семь.

— Да.

— Я запомню, — сказал Ярцев. — Не приказ. Тебя.

Он ушёл, а через час приехал Штерн.

Он вышел из машины, посмотрел на толпу, на камеры, на людей в пижамах, на детей, которых кутали в куртки линейных, — и сказал ровно, как говорят протокол:

— Вы понимаете, что вы сделали?

— Понимаю, — сказал Арсений.

— Вы не закрыли объект. Манжеты отрезали его от городской сети, но удержат связь разомкнутой около тридцати часов. За это время нам придётся закрывать очаг без людей. Если не успеем, он вернётся в сеть, и тогда погибнут тысячи. Вы купили сегодня, а работу оставили следующей группе.

— Я купил сегодня, — сказал Арсений.

— Да, — сказал Штерн. — Сегодня вы купили. А завтра купит кто-то другой, и ему будет нечем платить, потому что вы истратили всё, что было.

Он помолчал и посмотрел на него внимательнее.

— Отряд расформирован, — сказал он. — Приказ с восьми утра. Волкова возвращается в программу сегодня. Кира Андреевна, вы пойдёте со мной.

Кира встала. У неё дрожали руки, и она вытерла кровь с лица рукавом.

— Хорошо, — сказала она.

Она посмотрела на Арсения и сказала очень спокойно:

— Ты сделал правильно. Не спорь со мной: я знаю, что говорю. Я сегодня видела, как из дома вышли двести восемьдесят семь человек. Это больше, чем восемь месяцев.

Она пошла к машине и у двери обернулась.

— И не забудь: ты обещал меня снять. Теперь у тебя есть причина не забыть.

Машина уехала.

Штерн подождал, пока она скроется, и сказал:

— А с вами, Громов, отдельный разговор. Вы выбрали людей. За тридцать лет это первый случай, когда объект выбрал людей, и теперь вы меня интересуете всерьёз. Поэтому: в августе мы наденем на вас Корону. Не потому, что вы готовы, а потому, что Колодец растёт, а вы единственный, кто умеет платить и остаётся человеком. Готовьтесь.

Он сел в свою машину и уехал.

Арсений сидел на мокром асфальте и смотрел, как солнце выходит из туч.

Он записал в тетрадь — коряво, на холоде, не глядя:

«Студгородок. Вышли двести восемьдесят семь. Тридцать три остались в складках.

Выбрано в Дао семь ходов; два заимствования у Тимура — отдельно. Последний выбор — „Разомкни“. Корм: был на один ход, отдан один, осталось ноль. Отметка: сто тридцать миллиметров. Семь выборов — не семь разных умений и не семь запасных применений. Дао злилось: хотело, чтобы я взял людей в плату.

Я не подписал. Сегодня я не прошёл мимо — значит, замок цел.

Соберу отряд заново и вытащу Киру из программы».

Вечером двадцатого июня пришло уведомление: испытание Волковой перенесено на двадцатое июля. До комиссии кисти должны были зажить. Арсений зачеркнул в тетради июнь и записал рядом июль.

К полудню двадцать первого июня «Столб-1» закрыл оставшийся очаг, пока манжеты ещё держали разрыв городской сети. Тридцать три человека не вернулись. В отчёте их записали потерями; Мазур оставил напротив имён пустую графу, потому что тел никто не видел.

Глава 19. Назарово

Восемнадцатого июля институт направил его в Назарово. За четыре недели он не получил ни ответа о тридцати трёх, ни объяснения, почему на него готовят Корону.

В Назарово ехали двенадцать часов, и всю дорогу Прохоров молчал.

Молчал он так, что молчать становилось неловко, и Тимур начал разговор — какой всегда начинают в дороге, чтобы не считать километры.

— Если бы тебе дали миллион, — сказал он, — что бы ты купил?

— Куртку, — сказал Гриша.

— Миллион — и куртку?

— Я давно хочу куртку, — сказал Гриша. — С капюшоном и на меху. У нас в посёлке такие носил один дядька, он работал на промысле и однажды не вернулся, и я думал: значит, куртка не помогает. А потом понял: помогает, просто не всем.

— А ты? — спросил Тимур Мазура.

— Я бы не покупал, — сказал Мазур. — Я бы положил под процент.

— Под какой?

— Под восемь, — сказал Мазур. — Больше никто не даёт, а меньше я не возьму.

— Тимур?

— Выспаться, — сказал Тимур. — Миллион за то, чтобы проспать сутки и чтобы никто не будил на выход.

— Вэй?

— Новый автоклав, — сказала Вэй. — У старого клапан заклинивает, и я один раз чуть не подорвала медпункт.

Они все посмотрели на Арсения.

— Я не знаю, — сказал он. — Правда не знаю.

— Совсем?

— Совсем.

Тимур хмыкнул и сказал:

— Ладно. Тогда скажи, что бы ты съел.

И Арсений, неожиданно для себя, ответил:

— Пельмени. Синт-пельмени из банки, как Кира.

— Фу, — сказал Тимур.

— Очень вкусно, — сказал Арсений.

— Это не еда, — сказал Тимур. — Это строительный материал.

В машине стало легче, и двенадцать часов кончились раньше, чем они думали, и никто из них потом не вспомнил, о чём ещё говорил в той дороге, — но все помнили, что было не страшно.

Он сидел за рулём и смотрел на дорогу, и только на повороте у Ачинска сказал:

— Я там был.

— В Назарово?

— В семьдесят девятом, — сказал Прохоров. — Тогда испытывали копию. Не Корону — копию, снятую с Короны. Надели на человека. Он был охотник, класс В, звали Виктор Ключев.

— И что?
— И он до сих пор там, — сказал Прохоров. — Он живой. Он ходит, говорит, ест. Только он больше не Ключев. Понимаешь?
Арсений не понимал.
— Поймёшь, — сказал Прохоров.

* * *

Назарово было обычным городом: пять улиц, две котельные, дом культуры с выбитыми окнами, и на въезде — бетонный забор с колючей проволокой и надписью «ОБЪЕКТ 7. БЕЗ ОСТАНОВКИ».

За забором стоял завод.

Его не было видно с дороги: он был под землёй. Лифт шёл вниз четыре минуты, и когда двери открылись, Арсений увидел коридор, светлый, как в больнице, и людей в белых халатах.

Встречала их женщина лет пятидесяти, в очках, с планшетом.

— Кузнецова, — сказала она. — Веду направление «Корона» одиннадцать лет. Идите за мной, только не отставайте: у нас семь уровней, и на пятом начинается зона, где нельзя разговаривать.

— Почему?

— Потому что там хранится то, что слушает, — сказала Кузнецова.

Она сказала это ровно, как говорят про температурный режим.

* * *

По дороге она показала им пятый уровень.

Там был коридор, как все коридоры, только длиннее, и в конце его — не дверь, а решётка, за которой стояло что-то белое.

Арсений остановился.

Белое стояло неподвижно: сгусток, размером с автомобиль, и от него по полу шла тонкая белая жила — в стену, в потолок, дальше.

— Гонец, — сказал Прохоров.

— Да, — сказала Кузнецова. — Мы держим его четырнадцать лет. Он не растёт: мы ему даём ровно столько, сколько нужно, чтобы он не умер и не вырос.

— Зачем?

— Затем, что он слушает, — сказала Кузнецова. — Он слышит Корону. Когда звенит Корона, он тоже звенит: мы по нему проверяем, живая она или нет.

Она пошла дальше.

— И вот вам второе, что вы должны знать, Громов. Мы не только испытываем людей. Мы изучаем, что будет, если Корона попадёт не к нам. Она лежала в Москве больше двадцати лет, и её четыре раза пытались снять с хранилища. Все четыре раза — люди из Лиги, у которых были большие планы и мало времени.

— И?

— И все четыре раза их находили, — сказала Кузнецова. — Двоих — в хранилище, с пустыми руками, застреленными. Двоих — уже с Короной: один надел и умер за сутки, второй надел и стал тем, кого мы потом полтора года ловили по краю.

Она посмотрела на Арсения.

— Так что вы не первый, кто хочет её надеть. Вы первый, кто хочет надеть и снять.

На четвёртом уровне, у стены перед комнатой с колпаком, висели фотографии.

Их было сорок три: маленькие, чёрно-белые, с датами. Мужчины, женщины, двое подростков. Под каждой — фамилия и число дней.

— У кого три дня, у кого сорок, — сказала Кузнецова. — Клюев — сорок дней. Это рекорд.

— Он живой, — сказал Арсений.

— Поэтому он и не на стене, — сказала Кузнецова. — Он напротив.

На четвёртом уровне показывали копию Короны. Настоящая всё ещё лежала в Москве.

Это была комната с толстыми стенами и одним столом, и на столе, под стеклянным колпаком, лежало кольцо.

Арсений ожидал большего. Он думал: золото, камни, свет. В кольце не было ни золота, ни камней: восемь белых пластин, соединённых белым же ободом, и внутри — пустота, и по внутренней стороне шла тонкая резьба — восемь знаков, таких же, как на стене в Разломе, как на лице Короля, как на камне в бумагах отца.

Кольцо было тёплое. Арсений видел это даже через стекло: над ним дрожал воздух.

— Подойдите, — сказала Кузнецова.

Он подошёл.

И Корона зазвенела.

Это был не звук: это было как если бы в комнате рядом загудел большой колокол, но очень тихо, на пределе слышимого. Звон шёл от кольца, и в этом звоне был счёт — тот же самый счёт, который Арсений слышал в подвале ТЭЦ, в чёрном зале.

— Она его узнала, — сказала Кузнецова.

— Что?

— Она звенит, когда рядом носитель, — сказала она. — Я слышала это одиннадцать раз. Обычно звенит один раз — и всё. У вас она звенит не переставая.

Она подняла планшет.

— Читаю данные, — сказала она. — Кольцо отдаёт тепло. Пульс у вас — сто двадцать. На спине у вас — отметка, сто тридцать миллиметров: я вижу через камеру, у нас там стоит камера, извините.

— Все видят?

— Все, — сказала Кузнецова. — Громов, я вам скажу то, что вам не скажет Штерн. Я одиннадцать лет ищу человека, на которого эту вещь можно надеть. За одиннадцать лет у меня сорок четыре кандидата и сорок три вскрытия. Копию переносят трое из ста. Настоящую не перенёс никто: её снимали с мертвецов.

— Зачем тогда мне её предлагают?

— Потому что вы не переносите, — сказала Кузнецова. — Вы держите. Вы это делаете с тем, что у вас внутри. Мы не знаем, что у вас внутри, но мы знаем цифру: за полгода вы не сошли с ума, не потеряли форму и не убили ни одного своего. Такого у меня не было.

Она опустила планшет.

— Пойдёмте к Ключеву, — сказала она. — Вам надо его увидеть. Он — единственный, кто может вам объяснить, что это такое.

* * *

Виктор Ключев сидел в палате и играл в шахматы сам с собой.

Ему было сорок два, он был седой и крепкий, и он улыбнулся, когда они вошли.

— Садитесь, — сказал он. — Играете?

— Плохо, — сказал Арсений.

— И хорошо. Я тоже плохо играю: некому поправить. — Ключев посмотрел на Прохорова. — Игнат. Ты постарел.

— Здравствуй, Витя.

— Меня зовут Виктор Андреевич, — сказал Ключев. — Но он звал меня Витей, это ничего.

Арсений сел.

— Кто «он»? — спросил он.

Ключев посмотрел на него — внимательно, как смотрят врачи.

— Он — это я, — сказал он. — Ключев Виктор Андреевич, класс В, третий уровень, охотник. Он во мне сидит, и он всё ещё думает, что он живой. А я — то, что осталось.

— Я не понимаю.

— Понимаешь, — сказал Ключев. — Ты носишь на спине то же самое. Только у тебя оно живое, а у меня — мёртвое.

Он взял со стола бумагу и стал загибать пальцы.

— Слушай сюда, мальчик, и запоминай, потому что я это знаю лучше всех живых. Корона не даёт силы. Сила у тебя своя, Корона её только берёт и держит наготове.

— Тогда что она даёт?

— Право, — сказал Ключев. — Она даёт право не платить. Она говорит: ты теперь не расход, ты тот, кто решает. И пока она это говорит, ты и правда решаешь: она работает. Но платить всё равно надо, и она берёт не память, не годы и не душу. Она берёт волю.

Он наклонился вперёд.

— Понимаешь, что это значит? Через год ты не сможешь решить даже, вставать ли с постели. Не потому, что слабый: потому, что решать будет она. Я продержался сорок дней. На сорок первый я утром не встал — и это было не моё решение, и я даже не заметил, как это случилось.

— Как её снять? — спросил Арсений.

Ключев улыбнулся.

— Вот, ты уже спрашиваешь правильные вопросы, — сказал он. — Снять её можно только одним. Надо помнить, кто ты. Не имя: имя помнит и она. Надо помнить, чего ты хочешь, когда не хочешь ничего. У меня этого не было: я хотел чинов, денег, чтобы меня уважали. Она взяла это первой.

Он откинулся на стуле.

— А у тебя, я вижу, есть что-то. Ты зачем сюда пришёл?

— Чтобы её снять, — сказал Арсений.

— Не «снять» — надеть и снять, — сказал Ключев. — Это разные вещи. Снять с других можно: её снимали с мертвецов. А с живой головы она не сходит: она держится за того, кто в ней. Поэтому все, кто пробовал снять её с живого, снимали её с трупа.

Ключев вдруг отставил шахматы.

— Хочешь посмотреть, как это работает? — спросил он. — Скажи мне что-нибудь.

— Что сказать?

— Что угодно. Прикажи.

Арсений посмотрел на Прохорова. Прохоров кивнул.

— Встаньте, — сказал Арсений.

Ключев не встал.

Он сидел и улыбался, и его руки лежали на столе, и в них не было ни напряжения, ни дрожи.

— Вот, — сказал он. — Ты сказал, и я не встал. И знаешь, почему? Потому что я не хочу вставать, и это моё желание. Значит, я ещё человек: человек — это тот, кто может не хотеть.

Он поднял руку и положил её на стол. Потом поднял вторую.

— А теперь смотри.

Он начал считать. Вслух: «один, два, три, четыре» — ровно, не сбиваясь. На сорока его лицо не изменилось. На восьмидесяти тоже.

— Хватит, — сказал Арсений.

Ключев досчитал до ста и замолчал. Потом посмотрел на Арсения.

— Вот это делает она, — сказал он. — Я не могу остановиться. Я могу только ждать, пока она закончит. Каждый день, четыре раза в день, по сто. Врачи говорят: ритуал. Я говорю: поводок.

Он помолчал.

— И вот что ты должен знать, мальчик. Иногда я говорю не своё. Иногда я слышу: «Скажи ему надеть». Тихо, ровно, без злобы. Она не приказывает — она советует. Так она и берёт: не силой, а советом, который невозможно отличить от своего.

Он встал и подошёл вплотную.

— И вот тебе моя цена, мальчик, — сказал он. — Я тебе это рассказал не просто так. Я хочу, чтобы ты попробовал. Я два года сижу в палате и считаю, и я хочу, чтобы кто-то один раз снял её с себя живьём. Если снимешь — я узнаю, что это возможно, и, может быть, перестану считать.

— А если не сниму?

— Тогда ты будешь сидеть со мной, — сказал Ключев. — Будешь играть в шахматы и считать. Тут тихо.

* * *

Ночью, в комнате на втором уровне, Дао заговорило.

Оно молчало четыре недели — с той ночи, когда он отказался брать город, — и Арсений уже привык к тишине. А тут оно пришло само, и говорило мягко, впервые мягко.

«НАДЕНЬ».

Он лежал на койке и смотрел в потолок.

«НАДЕНЬ ЕЁ. Я СИЛЬНЕЕ ЕЁ. Я СНИМУ ТЕБЕ КОРОНУ, КОГДА СКАЖЕШЬ».

— Нет.

«ПОЧЕМУ? ТЫ ХОЧЕШЬ СПАСТИ ДЕВОЧКУ. ТЫ ХОЧЕШЬ СПАСТИ ГОРОД. Я ДАМ ТЕБЕ ЭТО».

— Ты дашь мне это, чтобы стать сильнее, — сказал Арсений. — Ты ешь всё, что я беру. Корона — это право. Ты хочешь право.

Дао молчало.

«ДА», — сказала оно наконец и уже без мягкости.

— А если я откажусь?

«ТОГДА УМРУТ ВСЕ. СНАЧАЛА ТЕ, КТО В СКЛАДКАХ. ПОТОМ ТЕ, КТО В ГОРОДЕ. ПОТОМ ТВОЙ БРАТ».

Арсений лежал и считал: сорок три фотографии, восемь знаков, тридцать три в складках, двенадцать тысяч в городе, один брат.

— Значит, я найду третий путь, — сказал он.

«НЕТ ТРЕТЬЕГО ПУТИ», — сказала Дао.

— Есть, — сказал Арсений. — Мне про него рассказал человек, который два года сидит в палате. Ты его не знаешь, потому что он не твой. Он мой.

Он повернулся к стене и закрыл глаза, и Дао больше в ту ночь не говорило.

Обратно они ехали ночью.

Прохоров молчал, а Арсений сидел и записывал в тетради всё, что сказал Ключев, и в конце приписал:

«Снять можно только одним: помнить, чего ты хочешь, когда не хочешь ничего. Значит, мне нужен якорь — то, что я хочу без выгоды.

Список: Мирон. Кира. Тимур. Вэй. Мазур. Гриша. Серёжа. Кожин, которого я не помню. Дед — я не знаю, кто это, но запишу. И то, что сильный не должен бить слабого: это я знаю без выгоды и без страха.

Дао заговорило впервые за четыре недели и уговаривало надеть Корону. Корона даст ему право. Значит, надевая её, я должен держать обоих. Решу это заранее, на бумаге, пока я ещё хочу».

Он закрыл тетрадь.

— Игнат, — сказал он. — Почему вы мне не сказали про Ключева раньше?

— Потому что если бы сказал, ты бы отказался, — сказал Прохоров. — А тебе надо было увидеть.

Он повернул на Красноярск.

— И ещё я тебе скажу, что думаю, — сказал он. — Не надевай её. Плюнь на Киру, на отряд, на институт. Ты мальчик, тебе четырнадцать; беги в посёлок и живи с братом.

— А если следующий домен будет как в Студгородке?

— Домен — не твой, — сказал Прохоров. — Домен — всех. А брат — твой.

Арсений смотрел на дорогу.

— Я не могу, — сказал он.

— Знаю, — сказал Прохоров. — Потому и молчал.

В институте его ждали двое.

Кира сидела на подоконнике в галерее — худая, серо-жёлтая, но с сумкой на коленях, и рядом с ней лежала справка.

— Меня отпустили, — сказала она. — Сегодня, в четыре. «Переведена под ответственность объекта четвёртого». То есть под твою.

— Значит, сработало.

— Значит, ты теперь за меня отвечаешь, — сказала Кира. — Не как друг. Как бумага.

Она подумала и добавила:

— Ладно. Мне всё равно. Я третий год живу под чужую подпись, могу и под твою.

Отряд восстановили на следующий день.

Об этом сообщил Мазур: он пришёл с бумагой и с лицом человека, который не верит своей же подписи.

— Читай, — сказал он. — «Экспериментальный отряд „Тринадцатый“ восстанавливается. Личный состав: Громов, Асланов, Мазур, Вэй, Волкова, Серёжа, Гриша». Плюс приписка: «в связи с особыми задачами института». Это значит: нас восстановили не потому, что мы были правы, а потому, что мы нужны.

— Мне всё равно, — сказал Тимур. Он сидел на койке с заклеенным плечом, и его лицо было серым, но он улыбался. — Я в отряде. Всё.

— Кира снова в отряде, — сказал Мазур. — В программе она по-прежнему третий объект. Но ходит под твоей ответственностью.

Арсений собрал их в коридоре — шестерых, всех, кто мог стоять.

— Слушайте, — сказал он. — В августе на меня наденут Корону. Это решено, и я не буду делать вид, что мы можем отказаться. Значит, мы будем готовиться к этому как к бою.

— Как к бою? — спросил Серёжа.

— Как к бою, где тварь — я, — сказал Арсений. — И где вы — единственные, кто может меня удержать. Помните, что я сказал в Студгородке? Я собирался остаться собой. Значит, вот задача: если я начну меняться — сказали мне об этом сразу, в лицо, при всех.

— А если ты не услышишь? — спросила Вэй.

— Тогда бейте, — сказал Арсений. — Ты обещала меня отравить. Тимур обещал остановить. Мазур обещал сказать «нет». Кира обещала сказать «ты стал не тем». Вот и всё, что у меня есть.

Он сказал это и записал в тетрадь, при них, в тот же вечер:

«Отряд — мой якорь. Не бумага, не Кира, не Мирон по отдельности: все они, и вместе с ними правило про сильного и слабого. Если я забуду — они скажут. Если не услышу — бьют».

После разговора с отрядом Арсений зашёл к Штерну. Тот ждал в кабинете с одной папкой.

Он открыл её и положил на стол лист.

— Сначала формальность, — сказал Штерн. — Я обязан спросить про самочувствие. Как руки?

— Заживают.

— Хорошо, — сказал Штерн и отметил в папке. — Тогда — по существу. И простите: я спрашиваю не из вежливости, а потому что в отчёте есть графа, и если я её не заполню, отчёт вернут, а я не люблю, когда возвращают бумаги.

— Калибр вашего брата, — сказал он. — Мирона Громова, семь лет. Проводили на прошлой неделе в посёлке, по программе школьного отбора.

Арсений взял лист.

В графе «аура» было написано: «не пусто».

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, — сказал Штерн, — что у вашего брата аура есть. Слабая, но своя, и она читается. У вас в восемь лет было пусто; у него — не пусто. По программе он проходит как «предварительно годен».

Он закрыл папку.

— Я вам это говорю не для того, чтобы торговаться, — сказал он. — Я вам это говорю, потому что теперь вы должны понимать: счёт открыт и на вашего брата. И когда вы наденете Корону, вы будете решать не только за Киру.

Глава 20. Мирон

В посёлок он приехал в конце июля вместе с Мазуром; автобус шёл шесть часов.

Дом стоял на прежнем месте: две комнаты, печь, завалинка, во дворе — коза Райка, которая ела всё, включая тряпку с верёвки.

Тётя Полина вышла на крыльцо и заплакала, и обняла его, и долго не отпускала, и говорила в плечо:

— Худой. Совсем худой. Что они с тобой сделали?

— Ничего, — сказал Арсений. — Работа.

— Какая работа, тебе четырнадцать!

Он не стал объяснять.

За её спиной, в дверях, стоял Мирон.

Ему было семь. Он вырос за год на голову, и был босой, и держал в руках кота, и смотрел на брата так, как смотрят на человека, который вернулся с войны: не радостно и не испуганно, а проверяя — тот ли это.

— Арс, — сказал он.

— Я.

— Ты обещал приехать в мае.

— Прости.

— Ты мне письмо писал, — сказал Мирон. — Ты писал: «я теперь многих не помню, поэтому ты пиши мне всё, что помнишь». Я писал. Двадцать четыре листа.

Он поставил кота на землю и пошёл к нему, и обнял его, и Арсений почувствовал, как в том месте, где стояло число, стало тепло — не от Дао: от себя.

Он этому удивился. Он уже месяц ничего не чувствовал, а тут почувствовал.

— Я думал, ты меня не узнаешь, — сказал Мирон.

— Узнал.

— Ты точно узнал?

— Точно, — сказал Арсений. — Ты пришёл с котом, на тебе рубаха в полоску, и ты уже хочешь сунуть его мне, чтобы я подержал.

Мирон посмотрел на кота и засмеялся.

— Ага, — сказал Мирон, поднимая кота. — Держи.

* * *

Утром он пошёл за водой и встретил Пеструхина.

Пеструхин вырос: ему было шестнадцать, он работал на пилораме, и у него были руки, как у отца, — широкие, в занозах. Он нёс две доски на плече и остановился.

— Громов, — сказал он.

— Пеструхин.

— Ты меня не помнишь, — сказал Пеструхин. — А я помню. Шестой класс, коридор, Сотников меня поднял, а ты сказал: «Поставь его».

— Помню, — сказал Арсений.

Они постояли.

— Ты в Лиге, говорят, — сказал Пеструхин. — Большой человек.

— Не человек, — сказал Арсений. — Отряд.

— Ага. — Пеструхин переложил доски. — Слушай, ты знаешь, что Сотников вернулся?

Арсений взглянул на него.

— В Красноярск, — сказал Пеструхин. — Он в Лиге, маг, буква В. Ему пятнадцать, у него своя группа, и он каждый месяц приезжает домой, к отцу. Он тут в клубе выступал: «наши чемпионы». Я на него смотрел и думал: вот он, тот, кто меня за шиворот держал, а теперь ему медаль.

— И что ты думаешь?

— Ничего, — сказал Пеструхин. — Я думаю: ты тогда получил четыре удара, а я нет. Значит, правильно.

Он пошёл дальше с досками, а Арсений стоял с ведром и смотрел на дорогу.

Арсений поставил ведро возле крыльца. Пеструхин донёс доски до калитки, оглянулся; Арсений махнул ему.

Он думал о новой встрече с Сотниковым. Раньше полез бы первым. Теперь ловил себя на другом: у того есть группа, которую можно поставить рядом со своей.

Арсений поднял ведро. Вэй такое заметила бы сразу. Он и сам уже заметил.

Вечером пришли из Лиги.

Их было двое: женщина в сером, с планшетом, и молодой мужчина в куртке с нашивкой. Они пришли не в дом, а сели на завалинке, как садятся продавцы, и позвали тётю Полину.

— Громова? — сказала женщина. — Калибр вашего младшего прошёл четырнадцатого. Аура читается, слабая, но своя. По программе он — предварительно годен.

— Ему семь, — сказала тётя Полина.

— Да, — сказала женщина. — Договор мы оформляем с четырнадцати. Но есть программа раннего сопровождения: двенадцать тысяч вперёд, довольствие, питание, обучение, и он в списке. По старшему брату вы знаете, как это работает: ваш старший в этом году — лицо института.

Арсений стоял у стены и слушал.

Он знал этот разговор. Зимой этого года его вели с ним, и тогда женщина в сером говорила те же слова, и тогда он подписал сам. Он помнил бумагу: «при утрате трудоспособности выплата производится семье».

— Двенадцать тысяч, — сказала тётя Полина.

— Двенадцать вперёд и по доле с каждого выхода, — сказала женщина. — С четырнадцати. До четырнадцати — только сопровождение: осмотры, школа, лагерь. Ничего страшного, право.

— Право, — сказала тётя Полина.

Она смотрела на планшет и молчала.

Арсений видел её руки: она держала их на коленях, и левая тряслась.

— Тётя Полина, — сказал он.

— Что, сынок?

— Можно я с ними поговорю?

Она посмотрела на него — и впервые за вечер у неё стало спокойное лицо.

— Говори, — сказала она. — Ты старший.

Он говорил с женщиной в сером долго, и это был первый раз, когда он говорил с Лигой не как ашка, а как человек, у которого есть вес.

— Он не пойдёт, — сказал Арсений.

— Это не вам решать, — сказала женщина.

— Это мне решать, — сказал Арсений. — Я объект четвёртый института «Колодец», я подписал участие в испытаниях Короны, и в августе на меня её наденут. У меня есть право на одного человека под ответственность. Кира Волкова уже взята. Второго мне не дадут, но я не прошу второго: я прошу отложить.

— Что отложить?

— Его раннее сопровождение, — сказал Арсений. — Отложить до шестнадцати. Каждый год осмотр, в четырнадцать — разговор с ним самим. Если захочет идти, пусть готовится. Но договор — не раньше шестнадцати. И не в семь.

— У нас нет такой формы, — сказала женщина.

— Есть, — сказал Арсений. — «Наблюдение с отсрочкой», приказ сорок второй, для детей пробуждённых, у которых в семье есть действующий охотник. Мазур, — он обернулся, — скажи ей.

Мазур стоял у калитки с папкой — он приехал с ним и всё это время молчал.

— Приказ сорок второй, — сказал Мазур. — Пункт шестой. Отсрочка даётся при письменном согласии действующего охотника первой линии и ходатайстве лечебного подразделения. Лечебное подразделение у нас есть: Вэй Лидия Аркадьевна, лекарь третьего уровня.

Женщина в сером смотрела на них обоих.

— А зачем вам это? — спросила она. — Мальчик всё равно пойдёт.

— Затем, — сказал Арсений, — что он будет решать сам, когда подрастёт. Вы ему сейчас выбираете всю жизнь.

Женщина закрыла планшет.

— Хорошо, — сказала она. — Я оформлю отсрочку. Но институт за это попросит своё.

— Что?

— Ваши записи, — сказала женщина. — Все. Тетради, в которых вы пишете с четырнадцати лет. Штерн просил передать: либо вы отдаёте тетради и получаете отсрочку, либо записи остаются у вас, а Мирона берут на раннее сопровождение.

Арсений молчал.

Он думал недолго — потому что ответ был уже готов, он только не хотел его произносить.

— Тетради, — сказал он.

Мазур сказал тихо:

— Ты понимаешь, что ты отдаёшь?

— Понимаю.

— Ты отдаёшь то, чем ты держишься.

— Я знаю, — сказал Арсений. — Дай бумагу.

Он подписал.

Женщина в сером ушла, и на завалинке остался один лист: «Громов Мирон Ильич, семь лет. Наблюдение с отсрочкой до шестнадцати лет. Ходатайство лечебного подразделения. Согласие действующего охотника Громова А. И.»

Арсений сидел и смотрел на этот лист.

* * *

В ночь перед отъездом в посёлке открылся очаг.

Он открылся негромко: в старом погребе за магазином, где держали соленья, пошёл тёплый воздух, и к утру во дворе запахло железом.

Люди пришли к дому — трое мужиков и продавщица, — и тётя Полина сказала: — Арсений, ты же охотник. Скажи, что делать.

Он спустился в погреб один.

Там было темно, и по стенам шла белая плесень — не жила и не тварь: росток, тонкий, как паутина, и он тянулся к теплу, к банкам, к солнцу из щели. Твари не было: тварь ещё только собиралась.

Он мог позвать Лигу: это по бумаге. Лига приехала бы через два дня, и за два дня росток стал бы Сором, а Сор — Служкой, и в посёлке кто-нибудь умер бы.

Он сделал иначе.

Он взял манжету — одну, ту, что носил в сумке, — и поставил её в углу, и росток зажал. Потом он сорвал белое со стены — руками, в перчатках, — и сжёг в печи, и когда от него осталось серое, тёплое, он открыл Дао.

Оно взяло сразу, и на этот раз жадно.

КОРМ ПРИНЯТ. МАЛО. ДАЙ БОЛЬШЕ.

ЗАПАС: НА ОДИН ХОД.

— Больше нет, — сказал Арсений.

Я ПОДОЖДУ.

Он стоял в погребе и слушал, как в нём сыто и тепло, и понял то, чего боялся: ему понравилось. Не сила: сам момент, когда серое уходит в него и становится числом.

Он вышел наверх и сказал людям, что очага не было: было тепло от старой печки, и надо проветрить.

Он соврал всему посёлку, и внутри у него при этом было ровно.

И на спине, под бинтом, стало горячо: плюс два миллиметра.

Он записал это в тетрадь Мирона — чтобы хранитель прочитал:

«Мне понравилось кормить. Это хуже, чем голод: голод проходит. Это — нет.

Правило: кормить только тогда, когда иначе нельзя. Не искать. Если я начну искать — значит, оно победило».

Ночью Дао заговорило — весело, впервые весело.

«ТЫ ОТДАЛ ТЕТРАДЬ».

— Отдал.

«БЕЗ НЕЁ ТЫ ЗАБУДЕШЬ БЫСТРЕЕ. ХОРОШО. Я ДАВНО ЖДАЛ».

Арсений лежал на печи и смотрел в потолок.

— Ты не понял, — сказал он.

«ЧТО Я НЕ ПОНЯЛ?»

— Что тетрадь была не одна.

Он встал, взял с полки школьную тетрадь Мирона — в клетку, за тридцать рублей, — и вернулся на печь.

— Мирон, — сказал он тихо. — Ты не спишь?

— Не сплю, — сказал Мирон из темноты. — Я слышал, как ты с ними говорил.

— Слышал. Тогда слушай дальше, и это важно.

Он сел рядом.

— Я забываю, — сказал он. — Не как все. Я правда забываю: лица, голоса, лето. Это не болезнь, это то, что во мне живёт. Оно даёт мне силу и ест меня. Я не могу его выгнать, но я могу его держать. Знаешь чем?

— Чем?

— Тем, что записано, — сказал Арсений. — Теперь слушай задачу. У меня есть вторая тетрадь. Я её отдам тебе. Ты будешь её прятать, и каждый раз, когда я приеду, ты будешь читать мне её вслух — всё, что там написано. Про тётю Полину, про тебя, про Кожина, про то, что сильный не должен бить слабого.

Он положил руку на тетрадь.

— И если я когда-нибудь приеду и не узнаю тебя — ты откроешь её и прочитаешь. Вслух. Понял?

Мирон молчал долго.

— Понял, — сказал он. — Я буду помнить тебя. Это как в игре: я — хранитель.

— Да, — сказал Арсений. — Ты — хранитель.

— А если тебя не будет долго?

— Тогда читай сам и пиши мне, — сказал Арсений. — И ещё пиши то, что видишь. Как ты писал двадцать четыре листа.

— Пиши двадцать четыре листа, — сказал Мирон. — Понял.

Он повернулся на бок и почти сразу уснул, и Арсений лежал рядом и смотрел в тёмный потолок, и внутри было тихо.

Дао больше в ту ночь не говорило. Оно считало.

* * *

Перед отъездом пришло два письма.

Первое было от Киры: четверть листа, печатными буквами.

«Громов. Я жива, песка не больше. Меня выпускают из палаты на два часа в день, я хожу в галерею и смотрю в бор.

Если ты не вернёшься из своей дыры — я тебя найду и ударю. Мне всё равно, что ты будешь мёртвый.

Двадцатого июня мы оба были в Студгородке. Испытание перенесли на июль. Двадцатого июля комиссия отложила его снова: кисти не держат копию. Ты записал: „Быть там“. Мне нужен был не свидетель испытания. Мне нужен был ты. Вернись.

Кира».

Второе письмо было от Штерна, и оно было коротким:

«Громов. Тетради получены, четыре штуки. Данные снимаем, всё оцифровывается. Ваш рост отметки — сто тридцать два миллиметра.

Напоминаю: четырнадцатое августа».

Он прочитал второе письмо дважды.

Четыре тетради. Он отдал четыре.

Утром пришла бумага.

Прислали из института: коротко, две строки. «Объект четвёртый. Рейд назначен на четырнадцатое августа. Объект — Колодец, плато Путорана. Корону доставят на место. Явка обязательна».

Арсений прочитал это дважды и сложил лист.

Мирон стоял рядом и смотрел, как он складывает.

— Арс, — сказал он. — А ты вернёшься?

Он спросил это так же, как спрашивал в шесть лет, в трубку, из посёлка, когда Арсений стоял восьмым в очереди на звонок.

— Вернусь, — сказал Арсений.

— Запиши, — сказал Мирон.

Тётя Полина собирала его в дорогу молча.

Она положила в сумку хлеб, банку сгущёнки, две пары носков и, в самый низ, завёрнутый в тряпку компас.

— Отцовский, — сказала она. — Он с ним на Колодец ходил. Стрелка врёт, но корпус настоящий. Держи, тебе нужнее.

— Спасибо.

Она села на табурет и посмотрела на него.

— Арсений, — сказала она. — Я тебе скажу то, о чём ты не спрашиваешь. Ты вернулся другим.

Он молчал.

— Добрее стал или злее — не скажу, — сказала она. — Ты стал как взрослый, который всё посчитал. Раньше ты в окно смотрел, когда разговаривал. Теперь смотришь в человека и считаешь.

— Это работа, — сказал он.

— Нет, — сказала тётя Полина. — Работой тут и не пахнет: это то, что с тобой сделали. Я баба тёмная, но я вижу: в тебе кто-то есть.

Арсений посмотрел на неё.

— Есть, — сказал он. — И я его держу. Пока держу — я вам вернусь.

Она не поняла, но кивнула: она привыкла не понимать.

Мирон вышел его провожать, и перед автобусом Арсений достал вторую тетрадь и отдал ему.

— Первая страница, — сказал он. — Прочитай вслух, пока автобус стоит.

Мирон открыл и прочитал, водя пальцем:

— «Меня зовут Арсений Громов. Я живу в Красноярске. У меня есть брат Мирон, семь лет. Я забываю людей, поэтому пишу их здесь. Если я кого-то забуду, прочитай мне это вслух».

— Хорошо, — сказал Арсений. — Теперь там есть ты.

Он вписал на первой странице, при Мироне, ещё строку: «Мирон — хранитель».

И подписался.

Автобус пошёл, и Мирон бежал за ним по обочине, и в руке у него была тетрадь, и он кричал что-то, чего Арсений не слышал из-за мотора.

Он не заплакал. Он сидел, смотрел в окно и считал: двадцать четыре листа, семь лет, четырнадцатое августа, сто тридцать два миллиметра.

А потом закрыл глаза и всё-таки заплакал — потому что понял, что впервые за много месяцев почувствовал что-то, чего не считал.

Глава 21. Плато

Рейд, назначенный на четырнадцатое августа, задержали: вертолёт не прошёл по погоде, вездеходы ждали груза на летней переправе. До Колодца добрались двадцатого, первый спуск назначили на двадцать первое.

Плато встретило их дождём.

Они ехали трое суток: Красноярск, Норильск, потом летняя объездная дорога и вездеходы, и последние сорок километров шли пешком по мокрому камню, потому что техника вставала.

На плато было пусто и плоско, как на столе: камень, мох, вода, и ветер, который шёл низко и нёс брызги.

В двух километрах от Колодца стоял лагерь: палатки, вездеходы, две мачты связи, прожекторы. Людей было много — больше ста: институт, Лига, оцепление, медики, и отдельно, под навесом, на ящиках, лежал белый ящик с пломбой.

В ящике была Корона.

— Тридцать лет, — сказал Прохоров.

Он стоял рядом и смотрел на север, где за дождём угадывалась впадина.

— Я тут был в пятьдесят первом. Семнадцать лет, второй спуск. По плану восемь вниз, четверо наверху. Одного оставили у лебёдки. Вниз пошли семеро, вышел я один.

Арсений молчал.

— Там, за впадиной, — сказал Прохоров, — стоит памятник. Одиннадцать фамилий: те, кто был в пятьдесят. И семеро с моего спуска. Я туда не хожу.

— Почему?

— Потому что на памятнике моя фамилия тоже есть, — сказал Прохоров. — Меня написали как погибшего и потом не стали переписывать: бумага старая, никому не охота.

Он закурил, хотя курил редко.

— Слушай сюда, Четвёртый. Я тебе скажу то, что тебе не скажут в институте. Колодец — не дыра. Колодец — это дверь. И она не открывается, она приоткрыта: тридцать лет, на палец. Всё, что мы делаем — очаги, навьи, домены, — всё идёт оттуда. И закрыть её с нашей стороны нельзя: её можно только закрыть изнутри или подписать.

— Что значит подписать?

— Не знаю, — сказал Прохоров. — Но у тебя в бумагах отца написано «+1. Громов А. И., г. р. 2066». Твой отец кого-то подписал. Возможно, тебя.

Он бросил окуроч.

— И вот ещё. Там, внизу, живёт Маара. Она говорит. Из тех, кто надевал настоящую Корону, живым не вернулся никто. Клюев носил копию — и то сорок дней, и это стоило ему головы.

* * *

Вечером в лагере пробовали копию.

Копию — ту, что сняли с Короны в пятьдесят девятом, — институт возил с собой в отдельном ящике: восемь белых пластин, только легче и глуше, с теми же восемью знаками по внутренней стороне.

— Кто? — спросила Кузнецова.

Вышел мужчина лет сорока, в куртке линейного, с нашивкой Б. Он не смотрел на своих; он смотрел на ящик.

— Мне обещали перевод семье, — сказал он. — Жене и дочке, в Норильск. И чтобы в бумаге было «при исполнении», а не «по болезни».

— Будет, — сказала Кузнецова. — Садитесь.

Он сел на ящик, и Кузнецова надела на него копию.

Первые минуты ничего не было.

Потом он перестал моргать. Потом сказал, ровно и вежливо:

— Я вижу счёт. Всё считается: ложка, палатка, вы. Скажите, что мне делать.

— Ничего, — сказала Кузнецова. — Сидите.

— Я не могу сидеть, — сказал он. — Я должен считать.

Он начал считать вслух. Считал он правильно — до трёхсот, до четырёхсот, и на четырёхсотом его голос стал тише, и Арсений понял, что дело не в голосе: мужчина старел. У него седели волосы — не сразу, а как седеют за годы, только за минуты; щёки пошли впадинами; руки стали сухими.

Через четыре часа Кузнецова сняла копию — с трупа.

— Двести сорок минут, — сказала она вслух, для протокола. — Копия даёт лишь десятую часть нагрузки настоящей Короны.

Ярцев стоял у навеса и смотрел.

— Зачем вы это показываете? — спросил он.

— Чтобы все видели, — сказала Кузнецова. — В том числе он.

Она посмотрела на Арсения.

— И чтобы никто потом не говорил, что не знал.

Вниз пошли в пять утра.

Их было десять: отряд — семеро; Прохоров; Кузнецова с прибором; и линейный с ящиком. Ярцев спускался отдельно следом и догнал их у плиты: в приказе он шёл не с ними, а за ними.

Ствол Колодца был тот же, что тридцать лет назад: девятьсот метров, ровный, как стакан. Первые четыреста они шли по старым пролётам лестницы, поставленной в пятьдесят первом. У границы белого закрепили привезённую подвесную лестницу.

Белое было солью.

Стены, пол, потолок — всё было покрыто коркой, белой, сухой, и корка росла: она шла по металлу, по бетону, по лестнице, и там, где она проходила, металл становился хрупким.

— Соляной домен, — сказала Кузнецова. — Он тут с пятьдесят восьмого. Внимание: здесь всё старится быстрее. Открытый металл — за часы, дерево — за минуты, люди — за сутки. Поэтому: не стоять, не сидеть. Идти.

— А если рана? — спросила Вэй.

— Рана заживает, — сказала Кузнецова. — Но заживает старой: шрам будет как у восьмидесятилетнего. Мы это видели на животных.

Вэй посмотрела на свои руки — старые, сухие, старше её на десять лет.

— Уже видели, — сказала она.

Они пошли вниз.

Через сорок минут Арсений понял, что домен начал с ними говорить.

Он слышал счёт. Не тот, к которому привык: не ровный, тёплый, свой, а чужой — как будто рядом шёл кто-то и считал вслух шаги, но считал неправильно: после семи у него шло пять, после двенадцати — три.

— Слышите? — спросил он.

— Что? — сказала Кира.

— Счёт. Он сбивается.

— Я не слышу, — сказала Кира. — Я слышу соль.

Через час началась соль.

Она шла по металлу: нижние пролёты подвесной лестницы крошились под ногами, и один пролёт сложился, когда по нему шёл линейный. Он успел схватиться, и его вытащили, но винтовка у него в руках стала белой и рассыпалась.

— Внимание, — сказала Кузнецова. — Металл не трогать без перчаток. Открытое железо оружия не поможет: соль попадёт на него, и через двадцать минут оно станет хрупким, как сухарь.

— Тогда чем? — спросил Тимур.

— Маной, — сказала Кузнецова. — И собой.

На четырёхсотом метре из стены вышла птица.

Она была белая, соляная, размером с ворону, и она сидела на уступе и смотрела вниз. Гриша поднял было баллон, и Арсений остановил его — поздно: птица сорвалась и ударила Гришу в плечо, и там, где она коснулась, куртка стала белой.

Гриша закричал.

Вэй срезала соль с его плеча ножом, как срезают корку, и плечо под ней было старым — в морщинах, как у старика.

— Она живая? — спросил Гриша.

— Была, — сказала Вэй. — Она умерла, когда тебя коснулась. Соль на ней перешла к тебе. Сама рассыпалась, а твоё плечо состарила.

— Значит, тут вообще нельзя драться.

— Тут можно только быстро, — сказала Вэй.

Они вышли на дно.

* * *

Дно Колодца было площадью, и на площади стояла дверь.

Не дверь даже: плита. Белая, соляная, в четыре человеческих роста, и по ней, на уровне груди, шли знаки.

Восемь.

Пять прямых, три коротких, последняя — длиннее и наклонена вправо, как замах. Такие же, как на стене в Разломе, как на лице Короля, как на камне в бумагах отца, как на ободе Короны.

А над ними, выше, было место. Ровное, гладкое, приготовленное — и пустое.

— Девятое, — сказал Арсений.

— Что? — спросила Кузнецова.

— Тут должно быть девять, — сказал он. — Восемь есть, а место под девятый — пустое. Подпись неполная.

Он сказал это и понял, что говорит не своё.

— Кто это сказал? — спросил он вслух.

И соль ответила.

Она не заговорила: она собралась. Плита перед ними пошла коркой, и корка поднялась, и из неё встала женщина.

Она была высокая, белая, и сделана из соли, как делают фигуры из снега, и в ней не было ничего страшного: просто женщина в длинном платье, и на её лице соль лежала так, что получалось спокойствие.

— Маара, — сказал Прохоров.

— Я, — сказала она, и голос у неё был как шелест соли по соли.

— Я тебя помню, — сказал Прохоров. — Ты отпустила меня.

— Я отпускаю тех, кто не подписывает, — сказала Маара. — В первый раз дорога назад была открыта для одиннадцати. До верха дошли четверо. Потом вышел ты. Отпустить — не значит донести. Я только сторож.

Она повернула лицо к Арсению.

Аура у неё была — огромная, ровная, и в этой ауре Арсений увидел знакомое.

Он увидел собственный счёт.

— Ты, — сказала Маара. — В тебе уже есть один из нас.

Арсений стоял и не двигался.

— Кто?

— Тот, кто пришёл из двери и не захотел уйти, — сказала Маара. — Он жил в троих до тебя. Двое умерли, один остался у меня: он сидит в соляной палате долгие годы и считает. Четвёртым стал ты.

— Тот, кто не удержал, — сказал Арсений.

— Тот, кто не удержал себя, — сказала Маара. — А ты держишь. Поэтому дверь тобой интересуется.

Она подняла руку и показала на пустое место над знаками.

— Восемь знаков — это подпись, — сказала она. — Девятый — тот, кто подписывает. Он ещё не пришёл. Когда придёт — дверь откроется полностью. Тогда сюда войдёт то, что за ней, и здесь не останется ни соли, ни камня, ни людей.

— Кто он?

— Он тот, кто носит Корону, — сказала Маара. — Корону вы принесли с собой. Я её чувствую: она звенит у вас в ящике.

Она посмотрела на Арсения.

— Теперь он знает, что вы пришли.

* * *

Дальше началось.

Из соли поднялись фигуры: не твари, а люди — белые, соляные, и каждая была похожа на кого-то из отряда.

Их Тимур вышел вперёд — тяжелее и шире настоящего, и его броня была из соли, и она не трескалась.

Кира увидела Киру: тонкую, быструю, и у неё в руке был нож.

Серёжа увидел себя — с белыми глазами.
Гриша — себя, с двумя руками.
Мазур — себя, и тот держал тетрадь.
Вэй — себя, и та была молодая, с целыми руками.
А перед Арсением встал он сам.
Он был точный: та же куртка, тот же бинт под курткой, тот же рост, и то же лицо — усталое, взрослое для четырнадцати.
И у него не было ауры.
— Не бейте их! — крикнул Арсений. — Это проверка!
Поздно: Тимур уже ударил.
Его двойник принял удар и не сдвинулся, и ударил в ответ — и Тимура отбросило к стене.
— Тимур, назад! Кольцо!
— Не работает! — сказал Тимур. — Броня у него как моя, а живой ауры нет!
Кира ушла в нить — и её двойник ушёл в нить тоже, и они встретились в воздухе, и Кира упала: у неё из руки пошла кровь.
— Он быстрее! — сказала она. — Он не устает!
Серёжа поднял манжету и выстрелил. Его двойник повторил движение. Оба патрона ушли мимо: стрелок слышал шаг, но в соли не было живой маны, по которой он привык целиться.
Соляная Вэй не была настоящую: она смотрела на неё и улыбалась, и Вэй опустила руки.
— Я не могу, — сказала она. — Она — это я.
— Все назад! — сказал Арсений. — Круг! Вэй, «Чистое поле» на нас!
Он стоял против себя, и двойник стоял против него.
И двойник заговорил — его голосом, ровно, как он сам:
— Ты можешь взять, — сказал двойник. — Возьми. Ты знаешь как.
— Нет.
— Тогда ты умрёшь здесь, и они умрут.
— Нет, — сказал Арсений.
Он не стал бить.
Позже Мазур записал: бой занял четыре минуты. Внутри этих минут каждый увидел своё.
Мазур увидел своего двойника с тетрадью — и двойник открыл её и стал читать вслух, ровным голосом Мазура:
— «Список. Кожин Витя, шестнадцать лет. Белов, сержант. Пеструхин...»
— Это моя тетрадь! — крикнул Мазур.
— Это твоя тетрадь, — согласился двойник. — Я могу записать туда всё. Хочешь, запишу тебя?
Мазур кинулся и вырвал тетрадь, и она рассыпалась у него в руках: бумага в соляном домене старится за минуты.
Он стоял с пустыми руками. Рассыпалась соляная копия тетради; его собственная лежала под курткой, в сухом чехле. Двойник стоял перед ним без листов.
— Я их помню, — сказал Мазур вслух. — И живых, и тех, кого не вытащили.

Гриша дрался со своим двойником и не мог: у того были две свои руки, и он делал всё, чего не мог Гриша настоящий, — поднимал баллон двумя руками, держал, стрелял. Гриша смотрел на него и опускал свою.

— Ты — то, чего у меня нет, — сказал он.

— Да, — сказал двойник. — Тебе никогда не будет так удобно.

— Мне и не надо, — сказал Гриша, и в его голосе впервые за эти месяцы была злость. — Мне надо, чтобы баллон держался. Держись.

Он поднял баллон одной рукой — и держал.

Серёжа больше не стрелял. Он опустил дугу и слушал, как его двойник повторяет движения: в соли не было живой маны.

Кира дралась дольше всех.

Её двойник был быстрее; Кира это знала и делала то, чего двойник не умел: она не пыталась победить. Она отступала — и вела.

Она вела его к Вэй.

— Вэй! — крикнула она. — Он живой? Он живой, слышишь?

Вэй посмотрела: соляная Кира шла, как живая, и в её белой груди шла тонкая серая нить.

— В нём отпечаток Киры, — сказала Вэй. — Серая нить есть. Это не живая мана, но за неё можно потянуть.

— Тогда держи его, — сказала Кира.

Вэй подняла руки — и её «Затягивание» пошло в соляного: она тянула из него серую нить, как тянут гной из раны, и двойник Кира шёл медленнее, медленнее и встал.

Кира ударила его в грудь, в то место, где гасла нить.

Двойник рассыпался.

Арсений обошёл своего двойника и встал между ним и Вэй — молодой, соляной, которая подходила к Вэй настоящей, — и сказал:

— Вэй, закрой ей глаза. Она тебя не тронет, если ты не смотришь.

— Что?

— Закрой ей глаза, — сказал он. — Она не умеет закрывать. Она может только смотреть и ждать. А ты умеешь.

Вэй посмотрела на него, потом на свою молодую копию, и сделала то, чего не сделал бы никто: она шагнула к ней, взяла её голову руками и закрыла ей глаза.

Соляная Вэй замерла.

— Она не может, — сказала Вэй. — Она правда не может сама перестать смотреть. У неё есть только я.

Двойники начали трескаться: сначала тот, что стоял против Тимура, потом остальные. Они не падали и не рассыпались: они останавливались и покрывались трещинами, как покрывается трещинами корка, из которой ушла вода.

Двойник Арсения стоял дольше всех.

— Ты не взял, — сказал он.

— Не взял.

— Почему?

— Потому что ты — это я, если бы взял, — сказал Арсений. — А я хочу остаться собой.

Двойник улыбнулся — той же улыбкой, что у Арсения в зеркале, — и его не стало.

* * *

А потом соль достала Ярцева.

Он стоял у плиты и не вмешивался: у него был приказ — не входить, пока отряд не позовёт. И соль пошла по его «плите»: мутная стена, которую он держал, стала белой и хрупкой, и Ярцев, стоявший за ней, увидел, что его броня — то, что делало его Ярцевым, — рассыпается.

— Уходи! — сказал ему Арсений. — Отсюда нельзя держать!

Ярцев отступил и опустил руки, и Арсений впервые увидел его лицо не ровным: в нём было что-то, чего он не видел раньше.

— Я тебе не помогу, — сказал Ярцев. — Здесь я — как все.

Он отошёл к лестнице и сел на ступеньку, и с этих пор смотрел.

Маара стояла у плиты и смотрела.

— Двенадцать приходили до тебя, — сказала она. — Никто не проходил проверку: все били себя. Ты первый, кто обошёл.

— Что теперь? — спросил Арсений.

— Теперь вы уйдёте, — сказала Маара. — Дверь не откроется: девятый знак не поставлен. Но я скажу тебе две вещи, потому что ты первый.

Она подошла ближе.

— Первое: того, кто в тебе, нельзя убить. Его можно только держать. Ты держишь хорошо. Держи так же, когда наденут Корону: Корона и он друг друга узнают.

— И что будет?

— Они друг друга усилят, — сказала Маара. — Корона даёт право, он даёт голод. Вместе это называется хозяин.

Она посмотрела на ящик, который держал линейный.

— Второе: Корону нельзя унести отсюда, — сказала она. — Она уже проснулась. Если вы попытаете её унести, она возьмёт того, кто её несёт. Здесь, у двери, она даст себя надеть — и даст снять, потому что здесь её сила — половина. Дальше — нет.

— Значит, надевать надо здесь, — сказал Арсений.

— Здесь, — сказала Маара. — И снимать здесь же. У вас два дня: потом дверь начнёт закрываться, и всё, что не выйдет, останется в соли.

Она отвернулась и стала солью.

* * *

Уже наверху, вечером в штабной палатке, решили, что делать.

Кузнецова говорила первой и показывала расчёт.

— Корону в лабораторию мы не увезём, — сказала она. — Маара сказала правду: она проснулась, она звенит, и в закрытом ящике её сила не уменьшается, а копится. Если мы повезём её через страну, мы повезём бомбу: она возьмёт первого, кто её коснётся, и это будет кто-то в вездеходе, в тайге, на трассе.

— Значит, надевать здесь, — сказал Штерн.

— Здесь, — сказала Кузнецова. — У двери её сила — половина: её можно надеть и снять. Дальше — нельзя.

— Кто наденет? — спросил Штерн, и все посмотрели на Арсения.

— Я, — сказал Арсений.

— Хорошо, — сказал Штерн. — Тогда условия. Первое: рядом будет врач и приборы. Второе: если он не снимет за два часа — Корону снимаем с него силой, даже если он будет сопротивляться. Третье: если снять не удастся — его убьют.

Он сказал это ровно, как читают протокол.

— Я, — сказал Ярцев из угла.

— Что?

— Я его убью, — сказал Ярцев. — Не потому, что я хочу. Потому что вы не сможете: вы будете думать, что он ещё вернётся. А я знаю, что не вернётся. Я это видел.

Палатка молчала.

— И четвёртое, — сказал Штерн. — Кто-то должен быть рядом и говорить. Не приборы: голос. Человек, которого он узнаёт.

— Я, — сказал Прохоров.

— Вы его командир, не родня.

— Я его командир, — сказал Прохоров. — И я его привёл сюда. И я там уже был, тридцать лет назад. Больше некому.

Штерн записал.

— Завтра, — сказал он. — В пять утра, пока соль не начала стариться сама.

Палатка опустела.

Арсений вышел и сел на ящик, и через минуту рядом села Кира.

— Я слышала, — сказала она. — Значит, завтра.

— Значит, завтра.

— Я хочу тебе одну вещь сказать, — сказала Кира. — Я хочу её тебе надеть.

Арсений посмотрел на неё.

— Почему ты?

— Потому что меня в этой жизни надевали все, — сказала Кира. — Программа, институт, палата, песок. Я была тем, на кого надевают. А завтра я буду тем, кто надевает. Понимаешь разницу?

— Понимаю.

— Тогда я надену, — сказала Кира. — И если ты станешь не собой — я тебя первая и ударю. Я уже решила.

Арсений не стал спорить: он посмотрел на неё и записал на листке, который дал Мазур, — своей тетради у него больше не было — решение. На обороте оставил короткий список: дом, Мирон, отряд, имена из тетради Мазура. Ниже написал:

«Завтра, в пять утра, у двери, Кира наденет на меня Корону. Держать: Прохоров говорит. Отряд — в круге, вокруг. Если стану хозяином — убьёт Ярцев.

Я хочу, чтобы было записано, что я согласился сам».

От штабной палатки до жилых шли молча.

Арсений сел у палатки, и к нему подошёл Прохоров — мокрый, злой, с разбитой рукой: на выходе из штольни сорвалась лестница, и он держал её собой, пока шли люди.

— Два дня, — сказал Прохоров. — Ты слышал, что она сказала?

— Слышал.

— Ты будешь надевать.

— Буду.

Прохоров сел рядом.

— На лестнице думал: всё, не удержу, — сказал Прохоров. — А руки держали. Всё ещё держат. Покажи свою.

Арсений протянул ладонь. Прохоров коснулся его пальцев своими, посмотрел и убрал руку.

— И вот что: там, внизу, у двери, нужно, чтобы кто-то помнил тебя вслух. Не отряд: отряд будет драться. Нужен один человек, который будет стоять рядом и говорить тебе, кто ты. Пока ты в Короне — ты будешь слышать только её.

— Кто? — спросил Арсений.

— Я, — сказал Прохоров. — Я тебе не отец, но я тебя знаю дольше всех. И я там уже был.

Глава 22. Сделка

В пять утра на дне Колодца было тихо, и от соли шёл пар.

Они встали кругом: Тимур, Мазур, Вэй, Гриша, Серёжа, Кира и Прохоров. Кузнецова поставила приборы на ящик, линейные держали свет. Ярцев стоял в десяти шагах, у лестницы, с винтовкой на ремне, и не смотрел на них: он смотрел на плиту.

Перед тем как её вынули, отряд сделал то, чего Арсений не просил.

Тимур подошёл первым и положил ему руку на плечо — тяжело, всей ладонью, как кладут на стену.

— Я тебя остановлю, — сказал он. — Как обещал. Если что — я тебя не удержу: я танк, я держу стену, а не человека. Но я тебя ударю.

— Хорошо, — сказал Арсений.

Мазур вынул из кармана лист — тот самый, ночной, — сложил его вчетверо и вложил Арсению в нагрудный карман.

— Читай, если сможешь, — сказал он. — Если не сможешь — я прочитаю. Это моя работа: считать и напоминать.

Гриша подошёл и не сказал ничего. Он поднял баллон — одной рукой, своей, — и держал его так, чтобы Арсений видел: держу.

— Я не боюсь, — сказал он. — Ты меня этому научил.

Серёжа достал из сумки патрон — один из двух оставшихся — и вложил его Арсению в ладонь.

— Держи, — сказал он. — Мне он всё равно не поможет: если ты станешь хозяином, я не смогу выстрелить, у меня руки дрожат, когда я стреляю в живого. А тебе пусть будет.

— Спасибо, — сказал Арсений.

Кира подошла последней.

Она держала руки в бинтах и не могла их разжать, и она стояла перед ним и смотрела.

— Ты боишься? — спросила она.

— Да, — сказал Арсений.

— Хорошо, — сказала Кира. — Я тоже боюсь. Значит, мы оба люди.

Она подняла голову.

— Готов?

Вэй осматривала его двадцать минут — так, как осматривают перед боем.

— Пульс, — говорила она. — Давление. Зрачки. Реакция. Отметка.

— Нормально?

— Ты здоров, — сказала Вэй. — Это единственное, что мне в тебе нравится. И вот что я тебе скажу, пока никто не слышит: если ты начнёшь терять себя, я вмешаюсь. Сорок минут — мой предел, не штабные два часа. И тогда я не буду стрелять и не буду травить. Я тебя оглушу. У меня есть ампула, от которой человек падает и спит двенадцать часов. Спасением я это не назову. Отсрочка, чтобы решали другие.

— Хорошо, — сказал Арсений.

— И второе, — сказала Вэй и посмотрела ему в глаза. — Ты не должен думать, что обязан выйти оттуда человеком. Обязан — это слово для бумаги. Если ты не выйдешь собой — я не буду считать, что ты проиграл. Я буду считать, что ты дошёл.

Кира сидела на камне и слушала.

— Всё, — сказала она. — Хватит его жалеть. Жалость — это перед смертью, а у нас сейчас работа.

Корону вынули из ящика.

Она звенела — ровно, тихо, и в звоне был счёт, и счёт этот был знакомый.

— Готов? — спросила Кузнецова.

— Готов.

Он сел на камень.

Кузнецова вложила Корону в две петли из плотного бинта. Кира взялась за петли предплечьями, направляя кольцо ладонями: пальцы не разжимались. Арсений увидел, как соль пошла от её кистей к локтям.

— Кира.

— Молчи, — сказала она. — Я держу.

Она подняла Корону над его головой.

— Арсений Громов, — сказала она. — Четырнадцать лет.

— Четырнадцать, — сказал он.

— Не забудь меня.

Она надела Корону.

* * *

Сначала не было ничего.

Была соль, был пар, был звон — и звон стал громче, а потом стал единственным.

Он перестал видеть Колодец. Он стоял в белом, и в белом не было ни стен, ни пола, ни неба: только ровный, спокойный свет, и в этом свете сидел кто-то, кто был очень терпелив.

«Здравствуй», — сказал он.

Арсений не ответил.

«Ты не бойся, — сказал тот, кто был в Короне. — Я не буду тебя есть. Я не умею есть: я умею разрешать. Посмотри».

И Арсений увидел.

Он увидел Красноярск. Студгородок: из складок выходят люди — все триста двадцать, и среди них нет мёртвых. Он увидел Кожина: он живой, у него две руки и он считает шаги. Он увидел Белова: он стоит у матерей и говорит: «Я не мучился». Он увидел Ключева: он в палате, но он играет в шахматы с собой и не считает. Он увидел Мирона: ему восемнадцать, у него нет ауры, и он свободен.

Он увидел Киру: она стоит в саду, у неё целые руки, и она смеётся.

«Тебе это можно, — сказал голос. — Не как награда: как правило. Ты единственный, кто может. Одно слово — и всё это будет. Скажи „да“, и я начну».

Он смотрел на город, который ему показывали, и видел, что в городе всё правильно.

Люди не спорили. Люди не дрались. Никто не смеялся над теми, кто не похож: за это отвечали. Никто не закрывал очаги с живыми: это было запрещено. Матери не

прятали детей: их учили. Хора не было — Хор был не нужен, потому что имена никого не теряли.

И Арсений увидел школьный коридор.

Он был чистый и светлый, и в нём стоял Сотников — взрослый, с медалью на куртке, — и держал за шиворот мальчика в очках, и говорил:

— Смотрите: у него нет ауры.

И никто не сказал ни слова. Никто не поднял голос. Никто не полез.

А тот, кто должен был, — шестнадцатилетний Арсений в отглаженной куртке — прошёл мимо и ничего не почувствовал. Ни злобы, ни стыда. Просто шёл по коридору, потому что всё было правильно и решено.

Арсений стоял и смотрел на себя со стороны — на себя, который прошёл мимо, — и впервые за всё время в Короне ему стало страшно.

«Вот цена», — сказал голос.

— Нет, — сказал Арсений. — Цены здесь нет. Ты показываешь мне, зачем показываешь.

«Поясни».

— Ты показываешь мне мир, где не нужно вступаться, — сказал Арсений. — Значит, в этом мире я не нужен. Ты хочешь, чтобы я согласился на мир, в котором меня нет.

Голос молчал.

«Ты упрямый, — сказал он. — Хорошо. Смотри дальше».

— Что ты возьмёшь? — спросил Арсений.

«Ничего, — сказал голос. — Ты просто перестанешь решать. Я буду решать за тебя: хорошо и правильно. Ты устал, мальчик. Ты держишь жильца с четырнадцати лет, а сейчас держишь нас обоих».

И тогда в белом зале поднялось второе.

Арсений почувствовал его раньше, чем услышал: как поднимается что-то, что жило в нём с самой смерти, — и как оно смотрит на голос в Короне с восторгом.

«Ты», — сказала Дао.

«Я», — сказал голос.

И они узнали друг друга.

«Ты даёшь право, — сказала Дао. — Я даю голод. Вместе мы дадим ему всё, и он согласится».

«Он не согласится, — сказал голос. — Он упрямый».

«Он согласится, — сказала Дао. — У него есть брат».

Арсений стоял в белом и слушал, как они разговаривают о нём, как о вещи, — и в этот момент он понял, что произошло.

Корона и жилец договорились.

Раньше они действовали порознь: Корона брала волю, Дао брало память и чувства. Теперь они сошлись, и в белом зале встало то, чему Маара дала имя:

Хозяин.

* * *

«Он устал», — сказала Дао.

«Ещё немного», — сказал голос.

«Ему больно. Он держит, но у него дрожат руки».

«Тогда предложи ему еду».

И Дао заговорило с ним — знакомо, вкрадчиво:

«ТЫ СМОЖЕШЬ КОРМИТЬ МЕНЯ. КОРОНА ДАСТ ПРАВО, Я БУДУ БРАТЬ ЕДУ И НЕ БУДУ БРАТЬ ПАМЯТЬ. НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. НИ ОДНОГО ГОДА».

Арсений молчал.

Он почти сказал «да». Он это почувствовал: рука поднялась сама, на ладонь легло тепло, и в белом зале стало очень легко — так легко, как бывает, когда перестаёшь держать.

Снаружи, на дне Колодца, прошло две минуты.

Арсений сидел на камне, и Корона была у него на голове, и лицо у него было чужое.

— Он опоздал, — сказала Кузнецова. — Докладываю: пульс сорок, температура тридцать четыре, зрачки не реагируют. Он уходит.

— Нет, — сказал Прохоров.

Он сел на корточки перед Арсением и вытащил из нагрудного кармана Арсения лист — тот самый, который Арсений писал ночью.

— Слушай сюда, — сказал Прохоров. — Я читаю твой список.

И он начал читать.

— «Мирон. Семь лет. Хранитель. Тётя Полина. Коза Райка. Дом на Заводской, печь, водокачка».

Арсений в белом зале услышал голос.

Он не понял слов: слова шли как будто через вату. Но голос был человеческий, и он был знакомый, и в этом голосе не было ни счёта, ни звона.

— «Кожин Витя, шестнадцать лет. Считал шаги. Любил синт-пельмени». — Прохоров читал медленно. — «Белов, сержант. Сказал: скажи матери, что я не мучился. Мать в Назарове, улица Мира, четырнадцать, глухая, говорить громко».

«Не слушай», — сказал голос в Короне.

— «Пеструхин. Сын дворника. Он не ушёл тогда, стоял у стены». — Прохоров перевернул лист. — «Сильный не должен бить слабого. Если стоишь и смотришь — ты не человек».

И тогда Арсений услышал отряд.

Голоса шли через вату, тихо, но их было много, и каждый говорил своё.

— Арсений Громов, — говорил Прохоров. — Четырнадцать лет. Командир тринадцатого.

— В Разломе он вытащил меня, — сказал Тимур. — Один. Пешком.

— Он в Ачинске вышел из тумана, — сказал Мазур. — Пешком вышел. Я считал: сто девяносто шесть.

— Он вывел меня из котельной, — сказал Гриша. — Он меня вывел, когда все ушли.

— Он мне сказал: три выстрела, — сказал Серёжа. — И больше ни один человек мне этого не сказал.

— В Студгородке он не подписал, — сказал Мазур. — Нас разжаловали, и он всё равно не подписал.

Вэй сказала:

— Он не умеет молчать. Это единственное, что в нём осталось непересчитанным. И тогда Кира сказала громко, так, что Арсений услышал каждое слово:
— Ты обещал меня снять. Ты записал это при мне. Ты — тот, кто записывает. И тогда Арсений вспомнил.

Он соединил сказанное: школьный коридор, четыре удара, потолок, Пеструхин у стены. Потерянные лица не вернулись; он понял, зачем живёт и зачем записывал.

«Это ничего не значит, — сказал голос. — Ты можешь спасти Кожина. Ты можешь спасти всех. Это тоже правильно».

— Да, — сказал Арсений.

Он сказал это вслух, в белом зале, и Дао, и Корона, и тот, кто был в Короне, замерли: они услышали «да» и решили, что он согласен.

— Да, — сказал он ещё раз. — Это правильно. Но я не буду.

«Тогда это будет стоить одного имени, — сказала Дао. — Считай: одно имя — и ты свободен».

— Нет, — сказал Арсений. — Потому что цена — не память и не воля. Цена — то, что я перестану быть тем, кем меня выбрали. А меня выбрали за одно: я не прохожу мимо. Если ты будешь решать за меня — мимо пройдёшь ты.

Он повернулся к ним — к голосу и к жильцу — и сказал:

— Я хочу одного. Без выгоды, без силы, без спасения — я хочу не пройти мимо. Это всё.

— Слушайте оба, — сказал Арсений вслух. — Ты даёшь право, ты даёшь голод. Вы договорились. Хотите знать, почему я не соглашусь?

«Хотим», — сказал голос.

— Потому что вы обещаете мне одно и то же: что мне не придётся решать.

«Ты устал», — сказала Дао.

— Устал, — согласился Арсений. — Но я устал быть собой, а не быть никем. Это разные усталости.

И белый зал стал тихим.

* * *

Пальцы не разжимались. Соль шла по коже, и ладони у него стали серыми, как у Киры, и он чувствовал, как под кожей что-то сохнет — медленно, как сохнет бумага на печи.

Корона держалась.

Она не хотела сходить: он почувствовал это физически — как изнутри, от затылка, по шее, к плечам идёт тяга, и тянет не Корона, а то, что жило у него в груди. Жилец держал право.

«Последнее, — сказал голос. — Кожин. Он может быть живым. Прямо сейчас. Одно слово».

Арсений стоял в белом зале и считал: Кожин, шестнадцать лет, считал шаги, любил синт-пельмени, хотел в девятый отряд, мать в Норильске, улица Мира, двадцать два, говорить громко.

Он всё это помнил. Он помнил по списку, а не по сердцу. И он не вспомнил их, а назвал: это разные вещи, и он знал разницу, и от этого в нём не было ни боли, ни жалости.

И он сказал:

— Нет. Потому что если я соглашусь сейчас, то я соглашусь и потом, и в конце соглашусь на мир, в котором не надо вступаться. А Кожин умер за то, чтобы такие, как он, оставались людьми, а не списком.

И тогда он сделал последнее, что у него было: он не стал бороться с ними. Он стал хотеть.

Он подумал про Киру — про то, как она сказала: «Я не хочу быть причиной, я хочу быть человеком». Про Мирона, который писал ему в тетрадь. Про Прохорова, который стоял снаружи и держал лист. Про мать, которая в семьдесят шестом держала дверь.

И белый зал начал давать трещины.

«Стой, — сказал голос. — Ты не понимаешь. Ты уйдёшь пустым».

— Знаю.

«Ты не будешь ничего хотеть. Ни еды, ни тепла, ни людей. Ты будешь делать и не чувствовать».

— Знаю, — сказал Арсений. — Я уже такой.

«Я верну тебе чувства, — сказал голос. — Одно слово, мальчик. Я сделаю так, что тебе снова будет больно и хорошо. Ты этого хочешь?»

Он молчал секунды три.

— Хочу, — сказал он. — Но не у тебя.

«Тогда возьми у меня, — сказала Дао, и он почувствовал, как жилец поднимается, и как легко было бы согласиться. — Один корм. Кто-нибудь, кого никто не считает. Я сниму Корону сам, и ты ничего не почувствуешь».

— Нет.

«Тогда я подожду, — сказала Дао. — Я умею ждать: тридцать три года — это не срок».

— Тогда это буду не я, — сказал Арсений. — А я хочу быть я.

Он взялся за Корону.

Снаружи Кира увидела, как Арсений поднял руки.

Он поднял их медленно и взялся за Корону — за белые пластины — двумя руками, и соль пошла по его пальцам, как шла по её.

И потянул.

Это было как вытаскивать руку из смолы: он тянул, и Корону тянуло обратно, и в этом сопротивлении не было злобы — было спокойное, уверенное «не надо». Она не спорила. Она ждала, что он устанет.

Он почти устал.

Тогда он сделал то, что делал всегда, когда становилось неважно: он стал говорить вслух.

— Кожин Витя, шестнадцать лет, — сказал он. — Считал шаги. Любил синт-пельмени.

Тяга ослабла.

— Белов, сержант. Сказал: скажи матери, что я не мучился.

— Пеструхин. Сын дворника. Стоял у стены.

Он говорил имена, и Корона сходила по миллиметру, как соль.

— Кира Волкова. Обещала вернуться.

— Игнат Прохоров. Не любил, когда врут.

— Мирон Громов. Хранитель.

На последнем имени он рванул.

— Он снимает, — сказала Кузнецова. — Он снимает сам. Это невозможно.

— Замолчите, — сказал Прохоров. — Не сбивайте.

Арсений снял Корону.

Он снял её сам — первый живой человек за всю историю испытаний, — и держал её в руках, и соль ела его ладони, и он не разжимал.

— Кира, — сказал он. — Я снял.

— Живой, — сказал Тимур. Это был не вопрос.

— Живой, — сказал Арсений.

— Ты снял.

— Снял.

— Знаешь, что я подумал, пока ты сидел? — сказал Тимур. — Я подумал: если он сейчас наденет и не снимет, мне придётся тебя ударить. И я всё это время считал, куда бить, чтобы не убить. Досчитал до тысячи девятисот.

— И куда?

— В челюсть, — сказал Тимур. — Сбоку, снизу, и сразу второго не давать. Так учил Прохоров.

Мазур стоял рядом с тетрадью и молчал, и Арсений увидел, что он держит ручку в кулаке так, что она сломалась.

— Запиши, — сказал Арсений.

— Уже, — сказал Мазур. — «Снял сам. Первый живой за всю историю испытаний». И время: тридцать две минуты.

Кира подхватила бинтовые петли. Прохоров перехватил кольцо в перчатках, бросил в ящик, и линейные захлопнули крышку.

Корона зазвенела — коротко, как звенят, когда закрывают дверь.

Арсений сидел на камне.

У него шла кровь из носа и из ушей, и он не мог разжать пальцы, и Вэй взяла его руки в свои, и её старые руки тряслись.

— Арсений, — сказала она. — Скажи что-нибудь.

Он открыл глаза.

— Кожин, — сказал он. — Витя. Шестнадцать.

— Дальше.

— Пеструхин, — сказал он. — Он не ушёл. — Он смотрел на неё и произносил медленно: — Вэй, я знаю, кто вы. Я помню, зачем пришёл.

Лицо Кожина не вернулось. Голос отца тоже. Он удержал то, что мог назвать, и Вэй услышала разницу.

Вэй заплакала и стала его ругать — шёпотом, мокро, не разжимая рук.

* * *

Маара подошла к плите.

Она стояла и смотрела на пустое место над восемью знаками, и в этом месте соль начала двигаться.

— Ты снял, — сказала она. — Хорошо. Но ты надевал.

Она показала: на плите, над восемью знаками, проступала девятая чёрточка — тонкая, короткая, наклонённая вправо, как замах.

— Теперь он тебя знает, — сказала Маара. — Дверь запомнила: тот, кто надевал и снял. Он будет искать тебя сам, и он найдёт, потому что ты носил подпись.

— Кто он?

— Тот, кто за дверью, — сказала Маара. — Он не Гонец и не Король. Он тот, кто подписывает. Здесь его называют Девятый. Ты теперь его метка.

Она стала солью.

* * *

Наверху был день.

Арсения вывели под руки, и он сел на ящик, и Кузнецова тут же стала снимать с него показания: пульс, давление, кожа.

— Тридцать две минуты в Короне, — говорила она вслух, для протокола. — Снял сам. Потери: отметка на спине выросла на четырнадцать миллиметров, на ладонях — соляные ожоги третьей степени, слух справа снижен.

— Хватит, — сказал Прохоров.

— Нет, — сказала Кузнецова. — Не хватит. Я одиннадцать лет ждала этих цифр. Она записала всё и только потом посмотрела на Арсения.

— Это первый случай, — сказала она. — Вы понимаете? Первый за всю историю испытаний. Я буду писать статью.

Тимур засмеялся и сел на землю. Мазур снял шапку и вытер лицо. Гриша держал баллон двумя руками — одной настоящей и одной из нити — и не мог её разжать. Серёжа стоял и считал выстрелы, которых не было.

Кира сидела на земле и смотрела на свои руки.

Они были серые.

От кисти до локтя кожа у неё стала серой и сухой, как старая бумага, и она не чувствовала пальцев.

— Вэй, — сказала она.

Вэй подошла, взяла её руки, посмотрела и ничего не сказала.

— Сколько? — спросила Кира.

— Не знаю, — сказала Вэй.

— Ты знаешь, — сказала Кира. — Ты всегда знаешь.

Вэй закрыла глаза.

— Два месяца, — сказала она. — Может, три. Она забрала у тебя то, что осталось от года.

Кира кивнула.

— Хорошо, — сказала она. — Значит, я успею.

Штерн пришёл через два часа.

Он не стал ничего говорить при отряде: он позвал Арсения в палатку, и там, при Кузнецовой и при Прохорове, сказал:

— Докладываю факт: объект четвёртый надел и снял Корону сам. Первый за всю историю испытаний. Кузнецова пишет статью, институт пишет рапорт, Москва уже знает: я отправил шифровку час назад.

Он помолчал.

— И у меня для вас две новости, и обе плохие. Первая: соль пошла наверх. Маара не соврала: девятый знак на плите проступил, и домен начал расти, а не стоять. По двум замерам он теперь поднимается примерно на сорок метров в сутки. При той же скорости до поверхности меньше месяца. Если не закрыть Колодец, соль выйдет на плато: там метеостанция и промыслы, эвакуировать придётся всех.

— Вторая? — спросил Арсений.

— Вторая: вы больше не объект, — сказал Штерн. — Вы — носитель, снявший Корону. Это другая категория. Вас вызовут в Москву, в главное хранилище: они хотят посмотреть на вас и решить, что с вами делать. Мы едем через неделю.

— А если я откажусь?

— Тогда вас привезут, — сказал Штерн. — И привезут не за руки: привезут за бумагу, потому что в бумаге вы — особо важный случай, а в стране, где каждый второй подвал — дыра, особо важные случаи не спрашивают.

Он вышел.

Ярцев подошёл к ящику.

Он стоял и смотрел на закрытую крышку долго — дольше, чем нужно, и Арсений увидел его лицо: не ровное, не чистое, а человеческое.

— Я шесть лет хотел её надеть, — сказал Ярцев.

— Почему не надел?

— Потому что знал, что не сниму, — сказал он. — А ты снял. Значит, я правильно не надевал.

Он поднял винтовку, снял её с ремня и отдал линейному.

— Я тебе больше не нужен, — сказал он Арсению. — Пока не нужен.

Он пошёл к машинам, и Арсений смотрел ему вслед и думал, что это не конец: такие люди не уходят, они готовятся.

* * *

Ночью он лежал в палатке и не спал.

Он не мог спать: в ушах звенело, и звон этот был похож на Корону.

Он развернул лист Мазура и поглядел на имена. Потом перевернул его чистой стороной вверх, положил рядом.

Отметка достигла ста сорока шести миллиметров. За время в Короне — ещё четырнадцать, хотя нового хода Арсений не брал.

Кире оставляли два месяца. Он обещал её снять; теперь нужно было найти, как вернуть ей руки.

Дао вернуло ему мать за корм. Могло ли вернуть Кире руки? Арсений уже знал, как оно отвечает на такие вопросы: сначала называет цену.

Он вышел из палатки. У машины стоял Прохоров и смотрел на юг, где начинался подъём.

— Чего ты хочешь? — спросил он.

Арсений подумал — и не нашёл ни одного ответа, который был бы про себя.

— Ничего, — сказал он.

Прохоров кивнул так, как кивают, когда слышат диагноз.

— Так и должно быть, — сказал он. — Ты отдал ей то, чем хотят. Она взяла больше, чем волю: она взяла желание. Это заживает, но не быстро. И вот что: пока не зажило — не бери в руки ничего, что предлагает.

— Хорошо.

— Это не «хорошо», — сказал Прохоров. — Это до конца жизни.

Он помолчал и добавил:

— Но ты не жалеешь. Ты сегодня сделал то, чего не делал никто за всю историю испытаний. Просто запомни, чем заплатил: не памятью. Желанием.

Он вернулся в палатку и лёг, не снимая куртки.

Он закрыл глаза и почти уснул, и в этот момент в палатку вошёл Прохоров.

— Вставай, — сказал он. — Плохо.

— Что?

— Дверь, — сказал Прохоров. — Соль пошла наверх.

Глава 23. Цена

Соль шла наверх сорок метров в сутки.

К утру она съела нижние сорок метров лестницы, и линейные, которые спускались за приборами, вернулись без приборов: металл рассыпался у них в руках.

— Считайте, — сказала Кузнецова. — Вчера расчёт давал сорок метров в сутки, сегодня уже сорок четыре. На плато живут восемьдесят человек на метеостанции и двести — на промыслах. Если фронт выйдет, все они будут стареть.

— Сколько у нас времени? — спросил Штерн.

— При нынешней скорости — около двадцати суток до поверхности, — сказала Кузнецова. — Скорость растёт; двадцать суток не обещаю.

— А дальше? — спросил Штерн.

— А дальше соль пойдёт по воде, — сказала Кузнецова. — Плато — водораздел. Всё, что тут старится, пойдёт в реки. Через год это будет вся Сибирь.

Она закрыла планшет.

— Мы можем закрыть Колодец, — сказала она. — Не заделать — завалить. Триста тонн на дно, взрыв по стенкам, и дверь уйдёт под породу. Тогда домен останется под завалом, и он не умрёт: он будет ждать. Но он не выйдет.

— Сколько времени нужно? — спросил Штерн.

— Девять часов, — сказала Кузнецова. — И один человек внизу.

— Почему один?

— Потому что заряды ставятся на четыре яруса, — сказала Кузнецова. — Последний — на дне, у плиты.

Она развернула планшет и показала кривую.

— Дверь дышит, — сказала Кузнецова. — Вдох — сорок секунд, выдох — сорок. Если рвать на выдохе, завал выбросит наружу. Значит, рвать надо на полном вдохе.

— Он может успеть, — сказал Штерн. — От плиты до лестницы двести метров.

— Подготовка займёт девять часов, — сказала Кузнецова. — На четырёх ярусах ставим заряды. Три можно закрепить. Нижний — нельзя: плита ходит на вдохе. Пока контакт прижат, цепь замкнута. Отпустишь — она разойдётся. Таймер даст время, но контакта он не удержит. Кто останется у плиты, должен дожидаться полного вдоха и подорвать.

— По соли, — сказала Кузнецова. — По соли не бегут: соль держит ступню и отпускает через полсекунды. Двести метров по соли — это восемь-девять минут. Сорок секунд — это её время, а не наше.

— Лебёдку можно собрать, — сказала Кузнецова. — Только трос там уже через двадцать минут становится ломким. Мы это видели на первом спуске. Оставить линию на всё время установки не получится. А вывести её к плите перед самым подрывом некому.

Она сказала это и посмотрела на Прохорова.

Прохоров стоял у вездехода и курил.

* * *

— Я останусь, — сказал он.

Они стояли вдвоём, у палатки, и шёл дождь.

— Почему вы? — спросил Арсений.

— Потому что я знаю ярусы, — сказал Прохоров. — Я тут был и помню нижнюю плиту. Кузнецова нужна у пульта: она следит за вдохом. Тимур держит людей у шахты. Кира не дойдёт с такими руками. Серёжа не увидит места креплений. Вэй нужна наверху: двести человек в лагере, из них сорок линейных. Я могу поставить заряды и удержать контакт.

Он затаился.

— А ты, — сказал он, — ты нужен наверху. Ты единственный, кто держит то, что в тебе. Если ты останешься внизу и не выйдешь — они найдут другого для Короны. Он наденет, а снимет ли — никто не знает. Ты снял. С тобой остаётся хоть какой-то шанс.

— У меня осталось на ход, — сказал Арсений. — Я вытащу вас.

Он не стал ждать ответа Прохорова. Закрыв глаза и назвал то, что хотел: вывести живого человека от нижней плиты.

«ЭТОГО МАЛО».

— Что ещё?

«ДРУГОЙ ЖИВОЙ».

Он открыл глаза. Прохоров смотрел на него.

— Сколько?

— Человека.

Прохоров отвёл руку от его плеча.

— Тогда не бери. Меня за второго не вытаскивай. И это последний корм — оставь его на попытку помочь Кире.

— Придумаем другое. Вертолёт.

— Вертолёт в соляном тумане не садится: лопасти берут соль и тяжелеют. Проверяли в семьдесят девятом, потеряли машину.

Арсений молчал.

— И второе, — сказал Прохоров. — Мне сорок семь. Я тридцать лет живу с того дня, как вышел из этой дыры один. Новиков остался внизу, а я вышел, и с тех пор я всё время хожу в подвалы — как будто ищу, где мне лечь. Вот оно.

Он достал из кармана тетрадь — толстую, в клеёнке, всю исписанную.

— Двадцать лет писал, — сказал он. — Сколько маны надо на вход, сколько на стену, где у Служек сухо, как они врут. Тебе пригодится. Мазур оцифрует, но ты читай сам: он считает деньги, а это — другое.

Арсений взял тетрадь.

— И вот что, — сказал Прохоров. — Впиши меня в свой список.

— Куда?

— Рядом с Кожиным, — сказал Прохоров. — Не «командир тринадцатого». Не «герой». Так, как Кожина: «Игнат Прохоров, сорок семь лет. Двадцать лет ходил в подвалы. Не любил, когда врут».

— Хорошо, — сказал Арсений.

Прохоров посмотрел на него.

— Ты сказал это ровно, — сказал он. — Без ничего.

— Да, — сказал Арсений.

— Значит, я не зря, — сказал Прохоров. — Ты ровный, потому что оно тебя ест. И ты всё равно не подписал и не прошёл мимо. Знаешь, что это значит?

— Что?

— Что в тебе есть что-то, чего оно не может съесть, — сказал Прохоров. — Я за тридцать лет видел сорок три человека с отметкой. У всех было пусто внутри, а у тебя — нет. Держи это. И не давай никому себя считать.

Он потушил окурок и положил руку ему на плечо — тяжело, всей ладонью.

— Всё, — сказал он. — Иди к своим.

— Игнат, — сказал Арсений.

— Что?

Арсений хотел сказать что-то большое. Он стоял и чувствовал, что должен сказать, и не находил слов, потому что слов не было: внутри было ровно и холодно, и он знал, что это не горе и не отсутствие горя, а то, что в нём с начала года растёт.

Он сказал:

— Я вас запомню.

Прохоров усмехнулся.

— Не ври, — сказал он. — Ты меня запишешь. Это разные вещи.

* * *

Днём в лагере началась давка.

Кузнецова объявила эвакуацию, и это было правильно, и это было хуже всего: двести человек, сорок машин, приборы, палатки, топливо — и все хотели вывезти своё первым.

Институтские требовали спустить вниз двух людей за приборами третьего яруса: приборы стоили девять миллионов.

— Нельзя, — сказал Тимур.

— Это не ваше решение.

— Это моё решение, — сказал Тимур. — Приказ: никого вниз. У меня приказ от командира тринадцатого, а у вас — бумага. Бумага подождёт.

Институтский попробовал обойти его по краю площадки, и Тимур шагнул — всего шаг, — и встал так, как встают танки: широко, не двигаясь, не угрожая.

— Я вас не ударю, — сказал он. — Я просто не пущу.

Тот отступил.

Вэй работала на площадке вторые сутки.

У неё было двести человек в лагере и тридцать раненых: обваренные, придавленные, один с переломом и один с соляным ожогом. Она решала, кого тянуть первым, и решила так: сначала те, кто может работать; потом дети; потом все остальные.

Один линейный, у которого соль съела кисть, просил её первой.

— Потерпи, — сказала Вэй.

— Я не могу терпеть!

— Тогда я тебе скажу честно, — сказала Вэй. — Если я возьмусь за тебя, я не возьмусь за двоих, и они умрут. Ты хочешь, чтобы я это решила по-другому?

Линейный закрыл глаза и кивнул.

Вэй тянула его третьим.

С часу дня собирали заряды и цепь. В четыре часа Прохоров пошёл вниз: три часа подготовки наверху, ещё около шести на установку.

Его провожали все: отряд, линейные, Кузнецова с прибором, Штерн. Ярцев стоял в стороне и не подошёл.

Прохоров надел на себя заряды — четыре, на грудь и на спину, — и взял фонарь и моток кабеля.

Кабель протянули в герметичный сухой рукав. Это защищало от соляной пыли, пока не разойдутся стыки. Несущий трос так закрыть не получалось: у роликов оболочку срезало бы под нагрузкой. Кузнецова проверила муфты и предупредила, что неисправный узел придётся чинить внизу.

— Слушайте приказ, — сказал он. — Последний. Тринадцатый, — он смотрел на них, — вы приказ не выполняете. Вы держите людей. Это выше приказа: если наверху будет давка, вы никого не пропустите вниз к соли, даже если это будет институт.

— Есть, — сказал Тимур.

— Мазур, ты считаешь. Считаю всё, включая меня: я хочу быть в цифрах, а не в словах.

— Есть.

— Вэй, — сказал Прохоров. — Двести человек в лагере. Я тебе их отдаю. Если что — ты решаешь, кого тянуть.

— Есть, — сказала Вэй.

Он посмотрел на Арсения.

— Ну, командир, — сказал он. — Ты держи. Я посмотрю, как ты держишь.

Он включил фонарь и пошёл вниз.

У шахты стояла женщина с ребёнком — из тех, кто работал на кухне, — и ребёнок плакал, и она смотрела вниз, в чёрное, и спрашивала:

— Там человек остался?

— Остался, — сказал Мазур.

— Почему?

— Потому что соль пошла наверх, — сказал Мазур. — Он пытается остановить её, пока мы ещё можем уйти. Прогноз — двадцать суток, но он меняется.

Женщина посмотрела на него, потом на ребёнка, и села на землю рядом, и больше не пошла к машинам, и её не гнали.

* * *

Рация работала плохо, но иногда ловила.

Арсений сидел у ящика и слушал, как внизу идёт работа — по обрывкам, по дыханию, по стуку.

— Первый ярус, — сказал Прохоров. — Кабель ставлю по правой стене. Запомните: по правой. Соль съест левую, там тяга.

Мазур записывал каждое слово в тетрадь.

— Второй ярус, — сказал Прохоров. — Тут вода. Заряд ставлю на уступ, у трубы. Если не работает — второй узел ниже.

— Игнат, — сказал Арсений. — Ты как?

— Я старый, — сказал Прохоров. — Я тут был мальчишкой, и тут всё стало ниже. Потолки ниже, вода ближе. Как в доме, где вырос: всё меньше, чем помнишь.

Пауза.

— Третий, — сказал он. — Слушайте: тут соль на стенках такая, что фонарь белый. Воздух сухой. Если кто полезет после меня — противогазы не помогут: пыль забивает фильтр за десять минут.

Потом он молчал долго — минут двадцать.

Арсений считал: четыре яруса, девятьсот метров, девяносто килограммов на группу, тридцать секунд от команды до подрыва.

— Четвёртый, — сказал Прохоров, и голос у него стал другой: тише. — Я на дне. Плита передо мной, в двадцать шагах. Маара стоит у плиты.

— Что она делает?

— Смотрит, — сказал Прохоров. — Она не мешает. Она вообще ничего не делает: она ждёт, кто придёт. Она мне сейчас сказала одну вещь.

— Какую?

— Она сказала: «Ты не подписываешь. Хорошо. Ваших тут будет двое — ты и тот, кто носит. Ты ляжешь, он придёт».

Рация замолчала.

Потом Прохоров сказал:

— Четвёртый, не слушай её. Она говорит правду, и это хуже всего.

Часы в лагере шли медленно.

Арсений сидел на ящике у шахты и считал: двадцать сорок, двадцать один двадцать, двадцать два. Он слышал, как внизу, под землёй, стучит — ровно, по разу в минуту: Прохоров стучал по трубе, чтобы наверху знали, что он живой.

На шестом часу стук прекратился.

— Нижний узел, — сказала Кузнецова. — Готовит контакт.

Связь шла плохо: кабель в соляном домёне старился, и в рации был шум. Дважды они слышали голос — коротко, обрывками:

— Кабель... коротит... обратный провод...

— Восстанавливает цепь, — сказала Кузнецова.

К исходу девятого часа шум оборвался. Голос Прохорова прозвучал ясно:

— Последний приготовлен. Держу нижний узел.

— Три верхних стоят. Нижний держу рукой. Контакт замкнут. Жду полного вдоха.

Арсений взял рацию.

— Игнат, — сказал он. — Маара ещё там?

— Вижу, — сказал Прохоров.

— Что она говорит?

— Ничего. Она смотрит. — Пауза. — Она показала мне девятый знак. Он проступил до конца: чёрточка, как замах. И под ним написано.

— Что написано?

— Не по-нашему, — сказал Прохоров. — Но я понял. Там написано: «Тот, кто носит, придёт сам».

— Игнат.

— Слушай сюда, — сказал Прохоров. — Тридцать секунд. Отойди к вездеходу и смотри наверх, а не вниз. И запиши в список: «Игнат Прохоров. Не любил, когда врут».

Рация замолчала.

Арсений отошёл к вездеходу.

Через тридцать секунд под землёй ударило.

Земля поднялась — не сильно, на полметра, — и по плато пошла волна, и из шахты вышел воздух, тёплый и сухой, как из печи. За ним пошла пыль. За пылью — ничего.

Шахта стояла.

Кузнецова смотрела в прибор.

— Домен встал, — сказала она. — Фронт не поднимается. Рост — ноль. Повторный замер: ноль.

Она опустила прибор и заплакала — коротко, беззвучно, как плачут люди, которые двадцать лет ждали цифру.

* * *

Арсений нашёл Мазура через час после взрыва.

Он сидел на ящике с тетрадью и писал. Арсений сел рядом.

— Считаю, — сказал Мазур. — Двести четырнадцать ачинских. Тридцать три студгородских. Одиннадцать с первого спуска, которых я не знал и вписал по бумагам. Прохоров. Двести пятьдесят девять имён.

— У меня список короче, — сказал Арсений. — У меня семь.

— Я знаю, — сказал Мазур.

Он закрыл тетрадь.

— Слушай, командир, — сказал он. — Я тебе скажу то, что думаю, и ты не обижайся. Твой список — не список. Это якорь: ты пишешь тех, кого боишься забыть, чтобы держать себя. Это правильно. Но в списке имён есть разница: мои двести пятьдесят девять — это те, кого никто не помнит. Твои семь — те, кого помнят все.

Арсений молчал.

— Я не в упрёк, — сказал Мазур. — Я к тому, что у нас теперь две тетради. Одна — как держаться тебе. Другая — чтобы не пропали они. Если я когда-нибудь умру, ты возьмёшь мою.

— Не умрёшь.

— Все умирают, — сказал Мазур. — Прохоров вон тоже так думал: он тридцать лет жил после спуска и не умирал.

Плиту завалило. Кузнецова раскрыла снимок, сделанный у двери до подрыва.

Рядом с плитой на срезе породы были видны те же знаки: восемь чёрточек, а над ними — девятая, тонкая и наклонённая, как замах. Порода обсыпалась, а знаки держались: они были не на камне, а в камне.

— Снять нельзя, — сказала Кузнецова. — Ещё вчера пробовали: они уходят вглубь. Это не рисунок, это разрез.

— Что это значит? — спросил Штерн.

— Это значит, что мы его не закрыли, — сказала Кузнецова. — Мы его заперли. Разница есть: запертое ждёт.

Арсений стоял рядом со Штерном и смотрел на снимок.

Он записал в список — в тот, который дал Мазур, — три строки:

«Игнат Прохоров, сорок семь лет. Двадцать лет ходил в подвалы. Не любил, когда врут.

Он остался по расчёту: я мог его отговорить и не стал. Это был расчёт: он знал ярусы, я — нет. Я записываю это как самый плохой пункт в списке.

Я сказал ему „я вас запомню“. Он ответил: не ври, ты меня запишешь. Он был прав».

* * *

Ярцев подошёл к нему поздним вечером, у машин.

Он был в той же куртке без нашивок, и его аура лежала на площадке плотно, как плита.

— Корону повезу я, — сказал он.

— Тебе приказали?

— Я попросил, — сказал Ярцев. — Я её сопровождающий, приказ подписан. Из Назарова — в Москву, в хранилище, под стекло. Корона после снятия спала: стала холодной и ровной, как хорошая бумага, и в закрытом ящике больше не копила — это проверили прибором и записали в протокол.

Он помолчал.

— Я тебе скажу одну вещь. Не как Ярцев, а как человек, который шесть лет хотел её надеть. Ты снял, и я весь день думал, почему ты смог, а я нет.

— И?

— Я понял, — сказал Ярцев. — Ты не хотел власти. Ты хотел, чтобы никто не умер. А я хотел решать. Знаешь, чем это кончается?

— Чем?

— Тем, что решать начинает она, — сказал Ярцев. — Я это знаю. И всё равно я её повезу, и я тебе не обещаю, что не надену.

Он посмотрел на ящик.

— Потому что, по-моему, у тебя неправильный ответ, — сказал он. — Ты держишь. Ты можешь держать год, десять, двадцать. А Девятый не ждёт: он подписывает. И когда он подпишет до конца, держать будет нечего. Тогда понадобится хозяин. Не такой, как Ключев: тот был слабый. Настоящий — тот, кто удержится. Ты уверен, что это не я?

— Нет, — сказал Арсений. — Не уверен.

— Спасибо, что не соврал, — сказал Ярцев. — Я поеду через два дня. Прощаться не будем.

Он пошёл к машине и обернулся.

— И вот что, — сказал он. — Кира. Ей два месяца. Я знаю, потому что читал бумагу: институт её больше не готовит — она негодна как сосуд. Её списывают.

— Что значит «списывают»?

— В твоём случае — это значит, что через два месяца её не станет, — сказал Ярцев. — В их случае — что в отчёте напишут «выбыла по состоянию». Разница только в словах. Готовься.

Ночью он сидел у палатки и писал.

Кира спала в палатке, и её руки, забинтованные, лежали поверх одеяла, и она во сне считала — тихо, как считал Кожин.

Арсений писал:

«23 августа. Колодец завалили. Рост домена — ноль. Дверь заперта, знаки остались: восемь и девятый.

Прохоров остался внизу. Я записал его так, как он просил.

Ярцев увозит Корону в Москву. Он сказал, что ты держишь, а он умеет решать, и что настоящий хозяин — тот, кто удержится. Я не знаю, прав ли он. Я знаю только, что он не врёт.

Кира: два месяца. Институт её списал. Я обещал её снять, и я не знаю, что это значит теперь: снять Корону с неё или её с этого мира. Обещание остаётся.

После торга Дао молчит. Это хорошо. Но у меня на спине — сто сорок шесть миллиметров и девятая чёрточка, которой раньше не было. Я её вижу в зеркале, когда бинтуюсь. Она как замах.

Оно не выросло. Оно подписалось.

О том, что делать дальше, я знаю три вещи. Первое: вернуть Кире руки — Дао умеет возвращать, я видел. Второе: не дать Ярцеву надеть Корону. Третье: узнать, кто такой Девятый.

Всё остальное — бумага».

* * *

Ночью на двадцать четвёртое августа Кира проснулась.

Она села, посмотрела на свои руки — серые, сухие, — и сказала:

— Арсений.

— Я здесь.

— Сколько времени?

— Два часа ночи.

— Мне осталось два месяца, — сказала Кира. — Я это знаю, не спорь. Я хочу тебе сказать три вещи, пока я ещё говорю нормально.

— Говори.

— Первое: программа. Про всех четверых я знаю. Первый — Юра Фомин, умер в пятьдесят девятом на втором этапе; я читала его дело. Марка видела: он сидит и считает. Третья — я. Четвёртый — ты. Впиши их: Юра Фомин, Марк, без фамилии. Пусть будут.

— Вписал.

— Второе, — сказала Кира. — Я знаю, что ты обещал меня снять. Я тебе скажу, что это значит, потому что ты сам не понимаешь. Это значит: когда я стану не собой — не дай мне стать чужой. Не пытайся меня спасти. Тебе придётся меня отпустить, и ты это сделаешь, потому что ты умеешь считать потери. Я не хочу, чтобы ты потом себя за это ел.

— Я это запишу, — сказал Арсений.

— Не записывай, — сказала Кира. — Я хочу, чтобы ты это помнил. Почувствуй это сейчас, а не запиши.

Арсений сидел и смотрел на неё и ждал, что в нём поднимется что-нибудь — боль, страх, жалость. Внутри было тихо и пусто.

— Не могу, — сказал он. — Не чувствую.

Кира посмотрела на него долго.

— Ладно, — сказала она. — Тогда так: пообещай мне вслух.

— Что?

— Что не наденешь Корону, — сказала Кира. — Никогда. Даже если Девятый придёт; даже если Ярцев её наденет; даже если весь мир попросит. Особенно тогда.

— Обещаю, — сказал Арсений.

— Хорошо, — сказала Кира и легла.
Утром пришла Вэй.
Она пришла делать то, что обещала: раз в неделю спрашивать.
— Ну? — сказала она. — За кого ты вступился за эту неделю? Кроме отряда.
Арсений подумал.
Он мог сказать про линейного, которому не отдал приборы; про женщину с ребёнком, которую не отогнали. Он мог сказать про Прохорова.
Он сказал:
— Ни за кого.
Вэй достала бумажку и записала.
— Так и запишу, — сказала она. — «Очередная проверка: ни за кого».
— И что?
— Ничего, — сказала Вэй. — Пока ничего. Я просто считаю, а не ты.
Утром пришла бумага из Москвы.
Штерн принёс её сам: обычный лист, две печати.
«Громову А. И., объекту четвёртому. Явиться в главное хранилище (Москва, Дмитровское) до десятого октября. При себе иметь: отметку, Корону сопровождать не требуется. Отряд — передать в оперативное управление Лиги, личный состав распределить по бригадам. Особые указания: объект четвёртый подлежит изучению; при отказе — привод».
— Подлежит изучению, — сказал Арсений.
— Формулировка дурацкая, — сказал Штерн. — По сути: вас будут смотреть. Приборами, врачами, может, резать — не знаю: я в этом не участвую.
— А отряд?
— Отряд расформируют, — сказал Штерн. — Опять. И на этот раз по-настоящему: Тимура — в «Столб-2», Мазура — в снабжение, Вэй — в госпиталь. Серёжу и Гришу — в резерв: они больше не годны.
— А Кира?
Штерн помолчал.
— Кире дадут место, — сказал он. — В Норильске, у матери. До конца. Это не милость: это дешевле, чем содержать её в палате.
— Вы её отпустите?
— Я подпишу, — сказал Штерн. — Ей не два месяца в палате, а два месяца дома. Разница для института маленькая, для неё — вся.
Он положил бумагу на ящик.
— И вот вам мой совет, Громов, хотя вы его не просили. Не бунтуйте в Москве. Там не плато: там людей считают не по именам, а по категориям. Вы приедете как категория. Постарайтесь до приезда перестать быть интересным.
Он ушёл.

Глава 24. Что осталось

Первого сентября ему исполнилось пятнадцать. Мирон прислал открытку: «Теперь ты на год старше. Возвращайся».

Медаль дали в сентябре, в актовом зале краевого управления, под тем же портретом первого набора.

Их поставили в ряд: Тимур, Мазур, Вэй, Гриша, Серёжа, Кира и он. Зачитывали бумагу: «За мужество и самоотверженность, проявленные при локализации объекта 22-в и объекта 7-бис...» — и в бумаге не было ни слова про Студгородок, где не подписали, ни слова про Прохорова, который остался внизу.

Медали были тяжёлые и блестящие, и на них был изображён щит.

— От имени Лиги, — сказал генерал.

— Спасибо, — сказал Арсений.

Он смотрел на зал: сто человек, телевидение, две камеры, и в первом ряду сидели родственники — мать одного линейного, жена другого.

Родни Прохорова в зале не было: у него никого не осталось.

— Может, скажете слово? — спросил генерал.

— Скажу, — сказал Арсений.

Он вышел к микрофону.

— В Разломе погиб Витя Кожин, шестнадцать лет, — сказал он. — Он считал ступени и просил записать его по-человечески. В Студгородке остались тридцать три, и я не знаю их имён. На плато остался Игнат Прохоров, сорок семь лет, он двадцать лет ходил в подвалы.

Он помолчал.

— Медаль дали нам. Я хочу, чтобы вы записали их тоже.

Зал молчал.

— Это всё, — сказал Арсений.

Камеры снимали, и в вечерних новостях это выглядело красиво: «Командир тринадцатого отряда почтил память товарищей». В бумаге при этом ничего не изменилось: Прохоров так и остался «устанавливается», а тридцать три студгородских — «не установлены».

* * *

Через три дня его вызвали в институт на изучение.

Изучали его шесть часов: кровь, слюна, кожа со спины, отметка под прибором, реакция зрачков на свет, время реакции, порог боли. Кузнецова сидела с планшетом и говорила вслух цифры.

Потом пришёл человек из управления — не Штерн: другой, в костюме, с папкой, — и предложил то, что предлагают всем, кого нельзя отпустить.

— Громов, — сказал он. — Институт предлагает вам штатную должность. Носитель четвёртой категории, оклад сорок восемь тысяч, квартира в Красноярске, довольствие, медицина. Вы прикрепляетесь к институту, работаете по заданиям, отчитываетесь ежемесячно.

— В чём работа?

— В том, что вы делаете, — сказал человек. — Вы ходите в очаги и держите. У нас сорок охотников, но носитель один. Это выгодно обеим сторонам: вам — деньги и защита, нам — данные.

— А если я откажусь?

— Тогда вы будете жить в посёлке, — сказал человек. — И каждые полгода к вам будет приезжать комиссия. Это не угроза: это порядок. В стране, где есть дверь, все, кто к ней подходил, стоят на учёте.

Арсений смотрел на папку.

— Я согласен, — сказал он.

Человек поднял брови.

— Так быстро?

— Мне нужна квартира в Красноярске, — сказал Арсений. — Не себе. Кире Волковой, если она вернётся. И ещё: мне нужно, чтобы мой брат был в бумаге как «наблюдение до шестнадцати», и чтобы это не отменили.

— Брат — это условие?

— Это первое условие, — сказал Арсений. — Второе: отряд не расформировывать до весны. Сейчас дайте им хотя бы месяц без новых переводов, пока я буду в Москве.

— Зачем?

— Затем, что весной им придётся меня держать, — сказал Арсений. — Я это знаю. Я не знаю, почему знаю, но знаю.

Человек записал оба условия — ровно, без помарок, как записывают то, что собираются исполнить.

Арсений смотрел на его руку и понимал: в бумаге условие — это строка. Строку можно исполнить, а можно исполнить иначе. Он уже видел, как это делается: отряд не расформируют — его «выведут из штата», и это будет то же самое, но вежливо.

— Третье? — спросил человек.

— Третье потом, — сказал Арсений.

Через неделю отряд «вывели из штата». Название в бумаге осталось, людей перевели порознь. Арсений пришёл к человеку, подписавшему условия. Тот показал оставленное название: формально отряд существует. Людей возвращать отказался. Для тех, кто жил в казарме, это было расформирование.

Тимура взяли в «Столб-2» — второй линейный отряд, тот самый, из которого приходили те, кто в столовой называл их дохлыми. Он пришёл прощаться в казарму, сел на койку и сказал:

— Взяли. Буква Б, шестая группа. Сказали: «танк нам нужен».

— Это хорошо, — сказал Арсений.

— Это никак, — сказал Тимур. — Я хочу тебе сказать: если ты когда-нибудь позовёшь — я приду. Даже если меня к тому времени повысят в Г. Особенно если повысят.

Мазура отправили в снабжение — считать чужие баллоны и нити. Он пришёл с двумя тетрадами: своей и той, где список имён.

— Я тебе оставляю одну, — сказал он. — Нет, не так. Я оставляю две: одну себе, одну тебе. И каждый месяц мы будем сверять.

— Зачем?

— Затем, что если я умру — список должен остаться, — сказал Мазур. — Двести пятьдесят девять имён: двести четырнадцать ачинских, тридцать три студгородских, одиннадцать с первого спуска и Игнат Прохоров. Это не только погибшие. Это люди, которых бумага уже потеряла, даже если мы вынесли их живыми. Их нельзя держать в одной голове. Даже в твоей.

Вэй перевели в госпиталь Лиги, третий корпус, и она пришла к нему последней — с бумажкой.

— Следующая проверка, — сказала она. — За кого вступился?

— За Прохорова, — сказал Арсений. — На медали.

— Это не считается, — сказала Вэй. — Это была речь.

— Тогда ни за кого.

— Так и запишу, — сказала она и записала. — И вот что, Арсений. Я тебе не мать и не сестра, поэтому скажу прямо: ты сейчас поедешь в Москву, и там тебя будут смотреть. Если тебе станет нечем держаться — приезжай ко мне. Я не буду тебя лечить. Я буду с тобой говорить. Это единственное, что я умею лучше, чем резать.

Она ушла.

Серёжу и Гришу отправили в резерв: Серёжа был почти слепой, Гриша не мог держать баллон. Им положили пенсию — четыре тысячи восьмьсот, — и комнаты в общежитии Лиги.

Гриша на прощание сказал:

— Я тебе вот что скажу. Я в отряде был полгода, и за эти полгода я один раз держал баллон двумя руками и не боялся. Пусть это будет вся моя жизнь: мне хватит.

Кира уезжала в Норильск.

Она пришла на вокзал в пальто и с одной сумкой, и её руки были забинтованы до локтя, и она сама несла сумку — не потому, что могла: потому что хотела.

— Мать не знает, что я больна, — сказала она. — Я ей написала, что приеду отдышаться. Месяц — это же отдых.

— Кира.

— Молчи, — сказала она. — Не надо. Я тебе лучше дам вот это.

Она достала из кармана жетон — круглый, серый, с выбитой тройкой.

— Я думала, отдам его тебе, когда умру, — сказала она. — Но умирать некогда, и мне это не нравится: жетон — это номер, а я не номер. Возьми и потеряй.

— Не потеряю.

— Нет, — сказала Кира. — Ты меня не понял. Потеряй его специально. Выброси. Ты — тот, кто записывает: тебе нельзя хранить номера.

Арсений посмотрел на жетон и положил его в карман.

— Я его выброшу, — сказал он. — Сегодня.

— И ещё одно, — сказала Кира. — Я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь: «Я обещал её снять, и я не знаю, что делать».

Она наклонилась к нему и сказала очень спокойно:

— Ты ничего не должен. Я не твоя работа.

А потом пошёл поезд, и она уехала, и он остался стоять на платформе с жетоном в кармане и с тем, чего у него не было.

Он стоял долго, потом достал жетон, посмотрел на тройку и бросил его в урну.

И не почувствовал ничего — и записал это: «Я бросил её номер в урну, как она просила. Мне не было жаль. Записываю, чтобы знать, что это было именно так».

* * *

Сотников догнал его у проходной.

Он был в куртке с нашивкой В и с медалью — не такой, как у Арсения: у него была медаль «за отряд», за сезон. Ему было пятнадцать, он был высокий и красивый, и он улыбался так, как улыбаются люди, у которых всё хорошо и которые этого не скрывают.

— Ты меня помнишь? — спросил он.

— Помню, — сказал Арсений.

— Школа, — сказал Сотников. — Я тебя бил. Четыре раза, кажется.

— Четыре.

— Ага. — Он шёл рядом, легко, широким шагом. — Слушай, я хотел сказать: ты не держи зла. Мы были пацаны. Я потом думал: за что я тебя? Ни за что. Просто ты влез, а я был сильный. Дурак был.

Арсений молчал.

— Я теперь в «Пламени», — сказал Сотников. — Второй маг по краю, ветка огня. Весной поеду в Москву: там что-то готовят, всех В собирают. Слушай, а ты приходи в «Пламя» — нам нужен такой, как ты. Ты же снял Корону! Мне отец рассказывал, я не поверил.

— Не пойду, — сказал Арсений.

— Почему?

— Потому что у меня есть отряд, — сказал Арсений. — И потому что я тебя помню.

Он сказал это без злобы — он сказал это ровно, как говорил всё в последний месяц, — и Сотников вдруг перестал улыбаться.

— Слушай, — сказал он. — Ты это... Ты правда не держишь?

— Держу, — сказал Арсений. — Только не то, что ты думаешь.

Они вышли за проходную, и у стены стояли трое мальчиков в куртках с буквой А, и один — четвёртый, маленький, в очках, — держал на весу две сумки.

— Эй, — сказал старший из трёх. — Дворниково отродье. Иди сюда.

Арсений остановился.

Сотников остановился тоже.

Он стоял и смотрел на Арсения, и в его лице было что-то, чего Арсений не видел никогда: он ждал, что сделает Арсений, будто они оба уже взрослые.

И Арсений пошёл.

Он подошёл к мальчику в очках, взял у него одну сумку, потом вторую, и сказал: — Пойдём.

— А ты кто? — спросил старший.

Старший потянулся к сумке. Арсений поставил её на землю и перехватил его запястье. Развернул ладонь наружу, остановился прежде, чем пришлось бы ломать.

— Он пойдёт со мной. Отойди.

Старший дёрнулся, не освободился и перестал тянуться к сумке. Арсений отпустил его, поднял обе. Остальные расступились.

Он пошёл, и мальчик в очках пошёл рядом, и за ними шёл Сотников — не рядом, а чуть сзади, — и у проходной сказал:

— Громов.

Арсений обернулся.

— Ты меня не ударил, — сказал Сотников.

— Не ударил.

— Почему?

— Потому что теперь я сильнее, — сказал Арсений. — Это ещё не повод тебя бить.

Сотников постоял.

— Весной, — сказал он. — Если ты приедешь в Москву — зайди.

Он пошёл к своим, и Арсений смотрел ему вслед и записал на свободном листе копии, оставленной Мазуром:

«Сотников: не ударил — и не пожалел. Я его не простил и не мстил: я его не считаю. Это, кажется, называется „вырос“ — только я не знаю, кто из нас вырос: он или я.

И ещё: я вступился за мальчика. Вэй спрашивала неделю назад, и тогда я сказал „ни за кого“. Сегодня я мог бы сказать иначе. Но я не буду ей говорить: пусть она спросит сама».

В посёлок он приехал двадцать второго сентября.

Дом был на месте, коза Райка была на месте, тётя Полина пекла пирог, и Мирон сидел за столом с тетрадью и что-то писал.

— Я тебе прочитаю, — сказал он.

Он прочитал — вслух, водя пальцем, и это был список.

«Мирон Громов. Архив.

1. Арсений Громов, брат. Пятнадцать лет. У него на спине растёт. Он забывает. Его держат: я. 2. Правило: сильный не должен бить слабого. 3. Правило: если стоишь и смотришь — ты не человек. 4. Игнат Прохоров. Остался в дыре. Не любил, когда врут. 5. Витя Кожин. Считал шаги. Погиб. У него мать глухая, улица Мира. 6. Кира. Песок в костях. Уехала в Норильск. Обещала вернуться. 7. Тётя Полина. Коза Райка. Дом на Заводской. 8. Юра Фомин, Марк. Их не знает никто, кроме меня. 9. Девятый. Его не знает никто. Он подписывает. 10. Правило: Арсений не надевает Корону. Никогда».

Арсений сидел и смотрел на эту тетрадь.

— Кто тебе это дал? — спросил он.

— Ты, — сказал Мирон. — Ты мне всё рассказывал, а я записывал. Ты потом забываешь, а я помню. Ты сам сказал: я хранитель.

— Я сказал.

— А теперь я ещё и пишу, — сказал Мирон. — У меня уже тридцать четыре листа. Я буду писать всё, что ты говоришь, и всё, что тут происходит. Тогда, если с тобой что-нибудь случится, будет где посмотреть.

Арсений закрыл глаза.

Он придумал записывать в четырнадцать, в феврале, в казарме, при лампе. Теперь его семилетний брат придумал то же самое — сам, — и это было самое сильное, что случилось с Арсением за эти месяцы: сильнее Короны и сильнее двери.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я тебе кое-что скажу, и ты запиши.
— Говори.
— В Москве мне дадут бумагу, — сказал Арсений. — Там будет написано, что я «подлежу изучению». Это значит, что меня будут смотреть, и, возможно, не отпустят. Если меня не отпустят — ты не приедешь. Слышишь? Даже если позову.
— Запишу, — сказал Мирон.
— И второе: если меня начнут смотреть и найдут, чем меня взять, — я всё равно не подпишу. Ты это тоже запиши.
— Запишу.
— И третье: я вернусь.
Мирон поднял голову.
— Ты всегда так говоришь, — сказал он. — И ты один раз не вернулся в мае.
— Вернусь, — сказал Арсений. — Запиши.
Мирон записал.

* * *

Перед отъездом пришла Люба.
Она принесла книгу: настоящую, твёрдую, в триста страниц, с надписью на обложке «Ачинск. Двести четырнадцать имён».
— Мы её напечатали, — сказала она. — Тираж двести. Половину раздали, половину продаём по себестоимости. Отпечатали на деньги, которые собирали четыре года.
Арсений взял книгу.
Имена шли столбиком, по алфавиту, с годами рождения, и в конце была глава «Плато» — на девять страниц, — где были те, кто остался внизу.
— Прохорова я вписал сам, — сказал Арсений.
— Знаю, — сказала Люба. — Мазур дал список. Двести пятьдесят девять имён — это книга, а не тетрадь. Это уже не остановить.
Она села.
— Я тебе ещё вот что скажу, — сказала она. — Тебя ищут.
— Кто?
— Пятое управление, — сказала Люба. — У них отдел, который называется «К». Мы получали их бумаги по ошибке два раза. Они ведут список тех, кто носит: носителей, «выходцев», таких, как Ключев. У них есть и ты, и твоя Кира, и твой брат.
— Откуда вы знаете про брата?
— Потому что в бумаге стоит «смотреть с двенадцати лет», — сказала Люба. — Я видела копию. Арсений, это не институт. Институт изучает. Эти — собирают.
Она встала.
— Мы не можем тебя защитить, — сказала она. — У нас тетради и ротатор. Но мы будем писать. Пока мы пишем имена — вас видно. Это всё, что у нас есть.
Она ушла.

* * *

На следующее утро он сидел дома и ничего не считал: ни времени, ни своих потерь.

Дома пахло дымом и тестом. Тётя Полина обычно пекла по субботам, даже когда печь топили через день. На этот раз испекла в понедельник, ради него. К утру на столе стояла кастрюля, а на лавке лежал Мирон с тетрадью.

— Ешь, — сказала тётя Полина. — И не говори ничего. Я и так вижу.

Он ел, и его никто не спрашивал, скольких он вывел и кого потерял. Тётя Полина спросила про другое: холодно ли в вагоне, дали ли зимнюю куртку, есть ли у него шапка.

— Есть, — сказал он.

— Покажи.

Шапки не было. Она нашла старую, отцовскую, из овчины, и натянула ему на голову, и он сидел в ней, как в чужой жизни, и не снимал, потому что ей было приятно.

Коза Райка вошла в дом, посмотрела на него и ушла.

Мирон принёс тетрадь и потребовал:

— Пиши.

— Что писать?

— Что было, — сказал Мирон. — Я храню, а ты помни. У нас так.

Арсений взял карандаш и написал в его тетради — не правило и не вывод, а то, что было в этот день:

«Вторник. Тётя Полина испекла пирог к моему приезду. Пили чай с молоком. Мирон показал, где у него хранятся цифры про меня: он пишет каждую неделю, сколько я забыл, и у него получилось четырнадцать раз с начала года.

Коза Райка смотрела на меня и ушла. Шапка отца пахнет табаком, хотя он не курил: наверное, табаком пахнет овчина».

Мирон прочитал и кивнул — так, как кивают люди, которые занимаются делом.

Ночью он спал на печи, на старом месте, и проснулся один раз — не от счёта, а от того, что за стеной залаяла собака соседа.

Он лежал и слушал: собака, ветер, где-то далеко поезд.

Он проверил себя, как учила Вэй, — и не нашёл ничего: ни радости, ни горя, ни страха. Пусто и тепло, как в остывающей печи.

Он мог бы записать это как потерю. Он записал это как факт — одной строкой на свободном листе Мазуровой копии, честно, без вывода:

«Дома хорошо. Я этого не чувствую».

Гость пришёл ночью.

Он не постучал и не вошёл: он стоял во дворе, у водокачки, и когда Арсений вышел, он не двинулся.

Он был в перчатках, в тёмной куртке, и лица его было не видно: месяц шёл за ним, и голова была в тени.

— Громов, — сказал он.

— Кто вы?

— Меня зовут Новиков, — сказал гость. — Старший группы первого спуска. Фамилия есть в бумагах: «пропал без вести, пятьдесят первый год».

— Из первого я вышел с Ильёй. Во втором остался, — добавил он.

Арсений стоял и считал: один человек, двенадцать метров, две руки, куртка без нашивок, перчатки, и от него не шло ауры вообще.

Как от Айсена. Как от него самого.

— Вы были внизу, — сказал он.

— Я был внизу, — сказал Новиков. — Двадцать восемь лет. Я вышел в семьдесят девятом, и с тех пор я считаю.

Он поднял руку и положил на водокачку — на белое железо — что-то маленькое, и Арсений увидел: это была бирка, из тех, что вешают на скот, с выбитыми буквами.

— Что это?

— Учёт, — сказал Новиков. — Я пишу на них номер. Ты — первый.

Арсений подошёл и прочитал: «т. 1».

— Т. — это «тварь»?

— Т. — это «тот», — сказал Новиков. — Тот, кто носит. У меня их будет восемь: в бумагах твоего отца восемь знаков и «+1», и это не совпадение. Ты первый, потому что ты снял Корону. Значит, ты не тот.

— Кто «не тот»?

— Тот, — сказал Новиков, — кто нужен Девятому. Он ищет не того, кто наденет; он ищет того, кто останется. Ты снял — значит, ты просто человек. Такие ему не нужны.

Он отступил в тень.

— Но у тебя есть брат, — сказал он. — У него аура читается. Мне не нужен ты, Громов. Мне нужен список.

Он ушёл — не побежал, не растворился: просто пошёл по дороге, и там, где он шёл, не лаяли собаки.

Арсений стоял во дворе и считал: одна бирка, восемь знаков, один брат, около месяца у Киры.

Он снял бирку с водокачки, положил её в карман — рядом с тем местом, где когда-то лежал жетон, — и пошёл в дом.

Мирон спал и во сне держал тетрадь.

Арсений сел за стол, при лампе, и записал на последней чистой странице Мазуровой копии:

«24 сентября. Гость: Новиков, старший первого спуска, двадцать восемь лет внизу, вышел в семьдесят девятом. Ауры нет. Ведёт учёт тех, кто носит. Мне дал номер: т. 1.

Он сказал, что Девятому нужен тот, кто останется. Сказал, что я ему не нужен, и упомянул брата. Я не знаю, верить ли Новикову. Мирона он уже считает; это я слышал сам.

Вывод: я второй раз за год должен защищать Мирона, и в этот раз защищать придётся не бумагой.

Что я знаю: восемь знаков — подпись; девятый — тот, кто подписывает; дверь заперта, но знаки в камне; Ярцев повёз Корону в Москву и сказал, что может её надеть; Дао молчит и отметка растёт после корма; у меня сто сорок шесть миллиметров и девятая чёрточка.

Что я решаю: не надевать Корону — это не оборона, это отказ. Оборона — это найти Девятого раньше, чем он найдёт Мирона.

Куда я еду: Москва, Дмитровское, до десятого октября.

С кем: один.

Два обещания ещё надо выполнить: снять Киру и вернуться к Мирону. А данное Кире слово не надевать Корону действует всегда. Всё остальное — бумага. Отряд расформирован, и это, кажется, было ошибкой института, а не моей.

Кем я буду к концу этого: я не знаю. Я знаю, что пока пишу это — я есть».

Он закрыл тетрадь и посмотрел на брата.

Потом лёг и уснул. Счёт опять не пришёл.

А утром пришла машина из института.

Интерлюдия. Дмитровское

Хранилище было под землёй, на глубине сорока метров, и в нём всегда было четыре градуса.

Корону внесли в последнюю ночь сентября: два офицера, Кузнецова с прибором и Ярцев, который шёл впереди и не нёс ничего.

Он не имел права её нести: по инструкции Корону переносят только в контейнере и только вдвоём, потому что один может открыть крышку. Офицеры шли сзади, и один держал руку на кобуре.

— Она звенит, — сказал молодой офицер и остановился.

— Иди, — сказал второй.

— Я слушаю: это как посуда в шкафу.

— Это она на носителя. В зале носитель. Иди и не оглядывайся.

Внизу был зал: стены в бетоне, лампы в решётках, и в центре — стол из нержавеющей стали, на столе — стеклянный колпак, а под колпаком пустое место, точно по размеру.

— Ставьте, — сказала Кузнецова.

Контейнер открыли, и Корона легла под стекло.

И зазвенела.

Она звенела ровно и тихо, как звенит посуда в шкафу, когда по столу стучат. Звон шёл по залу, и офицеры переглянулись.

— Что это? — спросил один.

— Она живая, — сказала Кузнецова. — Она всегда звенит, когда рядом носитель.

— Кто тут носитель?

Кузнецова посмотрела на Ярцева.

Они поставили контейнер и вышли, и старший — уже в коридоре — сказал молодому:

— Правило первое: в зал с ней не заходить по одному. Правило второе: если зазвенит у тебя в голове, а не в зале, — бежать вверх и докладывать.

— А если не зазвенит?

— Тогда ты не носитель, — сказал старший. — И это, поверь мне, лучшая новость в твоей жизни.

* * *

Ночью в зал зашёл лейтенант караула — молодой, лет двадцати, с двумя стаканами чая.

— Ярцев? — сказал он. — Я вам чаю принёс. У нас тут ночью холодно.

— Спасибо.

Лейтенант поставил стакан на стол и посмотрел на Корону — через стекло, издали, как смотрят на зверя в клетке.

— Она правда звенит?

— Правда.

— Я служу тут второй год, — сказал лейтенант. — Я ни разу не слышал. А сегодня услышал: как будто в шкафу посуда дзынькнула.

— Здесь она звенит на меня, — сказал Ярцев. — А если вы слышите её в голове, а не в зале, надо докладывать. Вас должны проверить.

Лейтенант побледнел.

— Я не... у меня прочерк в графе класса, я ашка, я в караул пошёл, чтобы не в подвал.

— Это неважно, — сказал Ярцев. — Носитель может оказаться и ашкой. Просто вас никто не проверял.

Он сказал это и посмотрел на мальчишеское лицо, на двадцать лет, на стакан чая, и вдруг понял, что говорит с собой в шестнадцать.

— Знаете, что я вам скажу? — сказал он. — Пока она звенит — не подходите к ней. Никогда. Даже если прикажет начальство, даже если признают носителем, даже если пообещают квартиру. Особенно если пообещают.

Лейтенант кивнул и ушёл.

Ярцев остался в зале один.

Это было против инструкции, и он это знал; он сказал офицерам, что проверяет крепление, и они ушли, потому что Ярцеву в Лиге не отказывают.

Он стоял перед стеклом и смотрел.

Корона лежала на белой подушке — восемь пластин, белый обод, пустота внутри, восемь знаков по внутренней стороне.

Восемь.

Ярцев расстегнул воротник и посмотрел на себя: под ключицей, у самой шеи, у него шла тонкая чёрная линия — короткая, с двумя ответвлениями.

— Семь, — сказал он вслух.

Он знал это число шесть лет и никогда не считал его чем-то, кроме отметки. Теперь, стоя перед Короной, он понял, что это номер.

Он вспомнил, как в шестнадцать лет давал первый ход. Тогда ему показали чёрную комнату и надпись. Надпись была короткая: «ВЗЯТЬ МОЖНО ОДНО». И рядом, мелко, то, чего он тогда не понял:

«НОМЕР: СЕДЬМОЙ».

Он тогда подумал, что это про очередь. Он был шестнадцатый в списке на калибр, седьмой по результату.

Он ошибался.

* * *

В три часа ночи в зал вошёл человек в перчатках.

Он не был из института и не был из Лиги: у него не было ни нашивки, ни пропуска, но дверь за ним закрылась сама, и охрана не подняла тревогу.

— Ярцев, — сказал он.

— Кто вы?

— Меня зовут Новиков. Я старший группы первого спуска. Формально я тридцать лет как мёртв.

Он подошёл к стеклу и посмотрел на Корону так, как смотрят на прибор.

— Семь, — сказал он.

Ярцев молчал.

— Вы знаете, что это значит? — спросил Новиков.

— Номер.

— Верно, — сказал Новиков. — Восемь знаков на двери — это не подпись одного. Это список: восемь тех, кого он собрал. Первый — тот, кто открыл Колодец и выжил. Второй — геолог Соловьёва, она умерла в шестьдесят третьем, и её тело не нашли. Третий — Ключев, он носил копию и остался жив, и он до сих пор в палате. Четвёртый...

Он замолчал.

— Четвёртый — Громов-старший? — спросил Ярцев.

— Четвёртое место зарезервировано за Громовым-младшим, — сказал Новиков. — Его вписали до рождения: «+1. Громов А. И., г. р. 2066». Это не девятый порядковый номер. Восемь носителей — знаки, а Девятый — тот, через кого подпись завершится. Один из этих восьми может стать подписантом.

Он положил на стекло руку в перчатке.

— Ваш номер седьмой, — сказал Новиков. — Не закрыто восьмое место. И подпись ещё не поставлена. Это две разные вещи.

— Кто восьмой?

— Кира Волкова, — сказал Новиков. — В программе она третья, в учёте пятая, а для нас — восьмое место: её делали как сосуд. Она выбыла — соль съела то, из чего её делали, — и место освободилось.

Он посмотрел на Ярцева.

— Вы хотите его занять? — спросил он.

Ярцев молчал.

— Я вам не предлагаю и не советую, — сказал Новиков. — Я считаю. Восьмой знак нужен двери; девятый подписывает. Если восьмой не встанет, дверь будет ждать, и соль пойдёт дальше — не вверх, как на плато, а вниз, под землю, где вода. Оттуда она выйдет в реки.

— Сколько времени?

— Год, — сказал Новиков. — Может, полтора.

Он снял руку со стекла.

— И ещё одно, — сказал он. — То, что Громов снял Корону, — это не победа. Это отсрочка. Дверь запомнила того, кто надевал и снял: девятый знак на плите проступил. След уже виден целиком. Пока подпись не поставлена, дверь приоткрыта. Когда подпись будет поставлена — она откроется, и тогда то, что за ней, придёт само.

— Кто за ней?

— Я не знаю, — сказал Новиков. — Я был на дне Колодца и видел дверь, но я не видел того, кто за ней. Я знаю только, что он подписывает, и что он подписывает людьми, и что подпись собирается сама. Каждый носитель — это буква. Восемь букв — имя. Имени я не знаю.

Он пошёл к двери.

— Зачем вы мне это рассказали? — спросил Ярцев.

— Затем, что вам решать, — сказал Новиков. — Я не агитирую: я записываю. В моей тетради вы — седьмой. Если вы наденете Корону — я вас перепишу восьмым. Если не наденете — вы умрёте, как все, и в моей тетради останется пробел.

Он открыл дверь.

— И вот что, Ярцев. Громов вам сказал: не надевай. Он прав: он не хочет, чтобы вы стали хозяином. А я вам скажу другое. Хозяин — это не тот, кем становится человек. Это то, чем становится дверь, когда её некому закрыть.

Дверь закрылась.

* * *

Ярцев остался один — до утра, до смены караула.

Он смотрел на Корону и считал: восемь знаков, седьмой номер, свободное восьмое место, незавершённая подпись, год до воды в реках.

Он вспомнил мать. Вернее, он вспомнил, что у него была мать: в его памяти остался только факт, а лицо, голос и запах ушли за девять ходов. Он вспомнил школьный двор и то, как в шестнадцать лет стоял в очереди на калибр, и как ему сказали «седьмой».

Он вспомнил Громова: четырнадцать лет, руки в солевых ожогах, и то, как он сказал: «Я не собираюсь становиться сильнее. Я собираюсь остаться собой».

— Я не могу так, — сказал Ярцев вслух.

Он сказал это в пустой зал, и Корона зазвенела громче — как будто ответила.

Он подошёл к стеклу и положил на него ладонь.

— Ты хочешь, — сказал он ей. — И я хочу.

Он стоял так долго.

Потом он снял ладонь со стекла и расстегнул воротник — и посмотрел на свою линию, на семь знаков, которых не было видно, потому что это была одна линия, а не восемь.

— Не сейчас, — сказал он. — Весной.

Он сказал это и сам понял, что это значит: он уже решил, и решение было принято не сейчас, а тогда, когда он в шестнадцать лет согласился на первый ход.

Утром Ярцев подал рапорт.

Комиссия сидела в стеклянной комнате в конце зала: генерал, Кузнецова и человек в костюме.

— Я прошу допуск к испытанию, — сказал Ярцев. — Копию я не прошу. Я прошу настоящую: сорок минут, здесь, в зале, под приборами.

— Зачем? — спросил генерал.

— Затем, что через год соль дойдёт до воды, — сказал Ярцев. — И затем, что номер седьмой — мой.

Генерал посмотрел в бумаги.

— Отказ, — сказал он. — Корону мы никому не дадим. Она под стеклом, и она там останется.

— Ваше право, — сказал Ярцев.

Он вышел, и его догнал человек в костюме — тот, что сидел третьим.

— Ярцев, — сказал он. — Не здесь.

— Что?

— Не в институте, — сказал человек. — Институт — это бумаги и отчёты. Мы сделаем иначе: полигон, закрытый контур, весной. Корону вынесут на два часа, и вы её наденете — и никто об этом не напишет.

— Кто вы?

— Пятое управление, отдел «К», — сказал человек. — Мы не изучаем носителей. Мы их считаем. И мы тоже хотим, чтобы дверь закрылась.

Он дал ему бумажку с номером.

— Скоро, — сказал он. — Позвоните.

Он ушёл.

Ярцев стоял и смотрел на номер, написанный от руки. Он ушёл наверх.

Следующей ночью Корона звенела до утра — ровно, тихо, спокойно: так звенит посуда в шкафу, когда в доме кто-то ходит.

* * *

Днём первого октября в хранилище привезли Арсения.

Перед спуском в зал Кузнецова вызвала Арсения на разговор, без приборов.

Она сидела в маленьком кабинете и держала в руках линейку, и Арсений впервые видел, чтобы она не знала, с чего начать.

— Носитель, — сказала она. — Я вам задам один вопрос, и вы ответите честно, потому что врать мне бессмысленно: я всё равно напишу в отчёте то, что измеряю.

— Задавайте.

— Он говорит с вами?

Арсений молчал.

— Я одиннадцать лет измеряю носителей, — сказала Кузнецова. — У всех одно и то же: на второй неделе человек начинает разговаривать сам с собой. У вас с января в протоколах — ни одного такого эпизода. Это значит либо что вы каменный, либо что вы разговариваете с ним и не считаете это странным.

— Второе, — сказал Арсений.

— Оно даёт вам силу?

— Даёт.

— Просит?

— Просит.

— Чего?

— Есть, — сказал Арсений. — Оно просит есть.

Кузнецова положила линейку.

— Тогда я вам скажу то, что должна была сказать в первый день, — сказала она. — Сорок три кандидата, которых мы потеряли, умерли одинаково. Не от Короны и не от тварей. Они умерли, потому что согласились с тем, что в них сидит. Сначала на минуту, потом на час, а потом уже не разобрать, где кто. Вы не соглашаетесь все эти месяцы. Я не знаю, сколько вы так протянете. Но я впервые за одиннадцать лет записываю в отчёте слово «шанс».

После разговора его привели в зал двое: офицер и женщина из института, — и Ярцев, стоявший у стекла, услышал, как Корона зазвенела прежде, чем открылась дверь.

Громов вошёл и остановился.

Он был в той же куртке, в какой Ярцев видел его на плато, и на руках у него были бинты, и он смотрел не на людей, а на стекло.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуй, — сказал Ярцев.

Они стояли вдвоём у колпака, и Корона звенела ровно: так звенит посуда в шкафу, когда в доме кто-то ходит.

— Ты её чувствуешь? — спросил Арсений.

— Чувствую, — сказал Ярцев. — Она меня зовёт.

— Меня тоже, — сказал Арсений. — Она говорит: «тебе можно».

— А мне она говорит: «ты должен».

Они помолчали.

— Ты её наденешь, — сказал Арсений. Это был не вопрос.

— Весной, — сказал Ярцев. — На полигоне. Мне дадут сорок минут.

— Ты не снимешь.

— Не сниму, — согласился Ярцев. — Скорее всего.

Он посмотрел на мальчика.

— Ты зачем приехал? Тебя вызвали — «изучать».

— Меня вызвали, — сказал Арсений. — И я приехал, потому что мне надо было тебе сказать одну вещь.

— Какую?

— Если ты её наденешь и не снимешь, — сказал Арсений, — я приду и сниму. С тебя. Живьём. Я знаю, что это можно, потому что я снял с себя на двери.

Ярцев смотрел на него долго.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказал? — спросил он. — Ты сказал, что придёшь снимать с меня Корону. Это значит, что тебе придётся меня победить.

— Да.

— Ты меня не победишь, — сказал Ярцев. — Мне двадцать два, я Г, я девять ходов.

— Я знаю, — сказал Арсений. — Поэтому я не буду тебя бить. Я буду тебя держать. Это разные вещи: тебя не надо убивать, тебя надо не отпустить.

Ярцев вдруг засмеялся — коротко, без веселья.

— Держать, — сказал он. — Ты правда в это веришь?

— Я в этом живу, — сказал Арсений.

Он повернулся и пошёл к двери, и у двери остановился.

— До весны, — сказал он.

— До весны, — сказал Ярцев.

Мальчик ушёл, и Корона звенела ещё несколько минут, как звонит телефон, по которому только что говорили.

Ярцев стоял у стекла.

Он думал о том, что впервые за шесть лет у него есть не приказ, а срок, и что срок этот назначен не институтом и не Пятым управлением, а мальчиком в бинтах, который сказал: «Я приду и сниму».

Он подумал, что весной он наденет Корону, и что это правильно, и что его, Ярцева, тогда не станет.

Он подумал, что это, кажется, называется словом, которого он не помнил. Он потратил шесть лет на то, чтобы его не помнить.

В это время, в двух кварталах, в комнате без окон, человек в перчатках сидел за столом и писал.

Он вёл тетрадь — толстую, в клеёнке, какую носят снабженцы. На первой странице был заголовок:

«Учёт тех, кто носит. Пятое управление, отдел „К“.

Внизу, столбиком:

т. 1 — Громов Арсений Ильич, 2066 г. р. Снял сам. К двери не годен: держит. Наблюдать ежемесячно. т. 2 — Соловьёва А. П., 2024 г. р. Умерла 2063. Тело не найдено. т. 3 — Клюев В. А., 2039 г. р. Носит копию. Голову потерял. т. 4 — Громов Мирон Ильич, 2074 г. р. Аура читается. Наблюдать. Проверка носительства — с двенадцати лет. т. 5 — Волкова К. А., 2065 г. р. Выбыла. Место свободно. т. 6 — Сотников Г. О., 2065 г. р. Маг, «В». Годен. Наблюдать. т. 7 — Ярцев Д. А., 2059 г. р. Сказал: весной. Ждать весны. т. 8 — пусто. Девятый — пусто».

Он закрыл тетрадь, запер её в ящик и выключил лампу.

И в темноте, в комнате без окон, на глубине сорока метров, было слышно, как звенит Корона.

* * *

В это же время, на другом конце Москвы, в общежитии института, Арсений сидел на кровати и писал.

Комната была казённая: стол, лампа, койка, окно во двор. На столе лежала бумага — та, которую ему выдали вместе с пропуском, — и на бумаге было написано, что он проходит изучение и обязан находиться в Москве до особого распоряжения.

Он размотал бинты на руках: соляные ожоги заживали плохо, кожа сходила пластами, и под ней была розовая, новая, тонкая.

Он вымыл руки, сел и посмотрел на себя в тёмное окно.

На спине, под бинтом, было сто сорок шесть миллиметров и девятая чёрточка. Он видел её только в зеркале, и каждый раз, когда видел, думал одно: она как замах.

Дао молчало с конца августа.

И в эту ночь оно заговорило — тихо, без злобы, как говорят врачи.

«ОН ИДЁТ ЗА ТВОИМ БРАТОМ».

— Знаю.

«Я МОГУ ДАТЬ ТЕБЕ СИЛУ, ЧТОБЫ ЕГО ОСТАНОВИТЬ. НЕ КОРОНУ. ПРОСТО СИЛУ. ЧЕТЫРЕ ХОДА, И ТЫ БУДЕШЬ СИЛЬНЕЕ ЕГО».

— Сколько?

«ПО ГОДУ ЗА ХОД. ЧЕТЫРЕ ГОДА — И ТЫ УСПЕЕШЬ».

Арсений сидел и считал: четыре хода, четыре года, Мирон, семь лет, восемь знаков, девятый.

— Нет, — сказал он.

«ПОЧЕМУ? ТЫ ЖЕ ХОЧЕШЬ ЕГО СПАСТИ».

— Хочу, — сказал Арсений. — Но ты не даёшь силу. Ты даёшь срок. Ты дашь мне силу, и к четвёртому году я буду тем, кто не помнит, кого спасал. Я уже это проходил: я смотрел на фотографию матери и не понимал, кто на ней.

«ТОГДА ТЫ ЕГО ПОТЕРЯЕШЬ».

— Может быть, — сказал Арсений. — Но если я стану хозяином, я потеряю и его, и себя, и тогда терять будет некому. Значит, нет.

Дао молчало.

«ТОГДА КОРМИ, — сказало оно наконец. — КОРМИ БОЛЬШЕ. Я БУДУ ЖДАТЬ. Я УМЕЮ ЖДАТЬ: Я ЖДАЛ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ».

— Я знаю, — сказал Арсений.

Он больше не боялся этого разговора. Он вообще ничего не чувствовал — и это было хуже страха: он сел и отметил, что разговаривает с тем, что хочет его съесть, как с погодой.

Он записал это тоже.

Потом он взял лист и написал письмо брату.

«Мирон. Здравствуй.

Я в Москве. Тут холодно и много машин. Меня смотрят врачи: всё в порядке, руки заживают.

Пиши мне всё, что ты пишешь: тридцать четыре листа — это уже книга. Продолжай. И вот что: если придет человек в перчатках и спросит про меня — ты не открываешь. Скажешь тёте Полине, и она позвонит в институт. Я тебе это пишу не для страха: я тебя прошу.

Я вернусь, как только смогу. Весной они готовят испытание Ярцева; к тому времени мне придётся быть здесь снова.

Твой брат Арсений».

Он сложил письмо, заклеил и отложил.

Потом открыл тетрадь — новую, первую собственную после отданных, — и написал на первой странице:

«Новая тетрадь после отданных. Начата 1 октября 2081 года, в Москве.

Первое дело — Кира. Дао не отдаёт даром; надо найти другой способ.

Не надевать Корону. Даже ради Киры».

Он закрыл тетрадь.

И в дверь постучали.

Он не удивился: он почему-то ждал этого стука всю ночь.

На пороге стоял человек в перчатках. За его спиной горела лампа коридора. Он шагнул в комнату, и в руке у него была маленькая белая бирка.

Он положил её на стол — не отдал, а положил, как кладут счёт, — и на бирке было выбито: «т. 4».

— Это ваш брат, — сказал Новиков. — Весной мы начнём. Вы будете помогать или мешать?

Арсений смотрел на бирку.

Он думал не о том, что ответить. Он думал о том, что впервые после Короны у него внутри что-то шевельнулось — и это была не боль и не страх.

Это была злость.

— Мешать, — сказал он.

— Хорошо, — сказал Новиков. — Тогда я запишу вас как т. 1 и буду смотреть ежемесячно.

Он ушёл.

Арсений взял бирку, посмотрел на неё и убрал в карман — к отцовскому компасу, который ему дала тётя Полина.

Потом он сел и дописал в тетради, под своим списком, одну строку:

«Весной я мешаю. Это первая тетрадь из многих».

Он потушил лампу, лёг и считал, чтобы уснуть: восемь знаков, девятый след, неподписанная дверь, четыре года в цене, один брат.

За окном шёл дождь, и в дожде светились окна института: там, на третьем этаже, сидели люди и писали про него бумаги.

Он думал о том, что весной он будет не один.

Тимур придёт, если позвать: он сам сказал. Мазур придёт, потому что список. Вэй придёт, потому что ей надо будет кого-то считать, а считать она умеет людей. Гриша придёт, даже если сможет держать баллон только одной рукой. Серёжа придёт, если сохранит хотя бы один выстрел. Кира — если он успеет помочь ей этой осенью. До весны он не имеет права ждать.

Он подумал, что отряд — это не бумага и не разрешение института. Отряд — это те, кого можно позвать и кто придёт.

Он подумал об этом и уснул — впервые в Москве.